

В. Г. Белинский

# Русская литература в 1840 году



Виссарион Григорьевич Белинский

## Русская литература в 1840 году

Эта статья открывает серию годовых обзоров русской литературы. Белинский придавал особое значение жанру «обзрений». «Кто на литературу смотрит, как на что-то важное, – писал Белинский в 1843 году, – в глазах того обозрения литературы не могут не иметь большой важности. Литературные обозрения – это живая летопись мнений различных эпох». Литературные обозрения – «это итоги каждого года».

# Содержание

#1 .....	0005
Примечания .....	0104

# Виссарион Григорьевич Белинский

## Русская литература в 1840 году

*Дай оглянусь!*  
Пушкин

*Толпой угрюмою и скоро позабытой,  
Над миром мы пройдем, без шума и  
следа,  
Не бросивши векам ни мысли плодови-  
той,  
Ни гением начатого труда;  
И прах наш, с строгостью судьбы и  
гражданина,  
Потомок оскорбит презрительным  
стихом, —  
Насмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом!*  
Лермонтов{1}

Лет десять тому назад, когда были в большем ходу альманахи, беспрестанно появлялись так называвшиеся тогда «обозрения литературы». Частенько являлись они и в журналах. От этих «обзрений» сыры-боры загорались, поднимались страшные чернильные войны; «обозрения» давали жизнь литературе – в них принимала жаркое участие даже и публика, не только сами литераторы. Что же за причина была этому наводнению от «обзрений», этой страсти «обозревать»?{2} Или много литературных сокровищ было, так что боялись потерять им счет? Или так мало было этих сокровищ, что хотели знать наверное, чем именно владеют, и даже владеют ли чем-нибудь?.. Совершенно противоположные причины рожают иногда одинакое следствие. Если тогда не были действительно богаты, то считали себя богатыми: назади было светлое торжество решительной победы юного романтизма (как выражались тогда) над дряхлым и чахлым классицизмом; в настоящем было если не действительное достоинство, то разнообразная, яркая пестрота все новых и новых явлений литературы; а в буду-

щем... о, как полно блестящих надежд было это будущее!.. И в самом деле, если тогда и слишком обольщались своим богатством, то все-таки потому, что преувеличивали его, а не потому, чтоб не было богатства. Нет, было. один Пушкин мог бы своею поэтической деятельностью наполнить целый период любой европейской литературы. А ошибка заключалась в том, что тогда думали иметь не одного, а нескольких Пушкиных, то все же предполагали это в людях, которые, хотя далеко не были Пушкиными, однако сами по себе имели и теперь имеют свое значение, свое неотъемлемое достоинство. Если тогда надежды в будущем основывались частью на том, что все журналы и альманахи наполнялись отрывками из больших, но еще неконченных поэм, драм, повестей, романов, и даже появлялись первые томы «историй», которым никогда не суждено было окончиться, хотя и суждено было собрать обильную жатву заблаговременной подписки{3} – то не забудьте, что это было время, когда о смерти Пушкина никто и не думал, когда Жуковский часто напоминал о себе превосходными произведениями. При

жизни Грибоедова чего не могли ожидать от творца «Горя от ума»? Какою роскошною за­рею занялся рассвет таланта Веневитинова, какой пышный полдень, какой обильный ве­чер предсказывало прекрасное утро его поэ­тической деятельности! А впоследствии чего не почитали себя вправе ожидать от талан­тов, произведших, не говорим «Новика», «Ко­щея бессмертного», «Юрия Милославского», но даже и «Киргиз-кайсака»?.. {4} Конечно, эти надежды поддержаны и оправданы только первым, и отчасти вторым; но, повторяем, в то время естественно было ожидать чего-то великого и от последних двух. Если тогда иные выходили, как говорится, «в люди» и приобретали громкое титло поэтов только за гладкие стихи, то разве теперь не повторяет­ся подобное явление, с тою разницею, что да­же и не за гладкие, а за шершавые вирши, но только наполненные дикими, изысканными и безвкусными вычурами в обороте мыслей и фраз?.. {5} Как бы то ни было, но тогда имели слишком достаточные причины «обозре­вать».

Нужны ли теперь «обозрения»? Есть ли те-

перь что обозреть?.. Мы уже сказали, что иногда совершенно противоположные причины производят одинакие следствия, – и потому утвердительно отвечаем, что теперь снова настает время «обзрений». Если б у нас не было ничего, достойного обозрения, то мы еще более должны были бы обозреть, потому что мы будем в выигрыше даже и тогда, когда окончательно узнаем, что у нас нет ничего: самое горькое сознание в бедности лучше смешного хвастовства воображаемым богатством. Если нам кажется несколько забавным прошлое время, когда обольщались «отрывками неконченных сочинений», то не подадим ли мы будущему времени более основательных причин смеяться над нами, гордящимися – ничем?.. Впрочем, кажется, еще нечего бояться итога, состоящего из одних нулей: если мы взглянем попристальнее на современную литературу, то в небольшом количестве ее страз и большом количестве булыжников найдем несколько и брильянтов. – Все-му свое время: мы уже пережили период самообольщения, младенческих и юношеских восторгов; нам уже нужны не мечты, а дей-



ствительность; для нас уже медный грош дороже миллионов рублей, вычеканенных из воздуха: словом, для нас настало время *сознания*. Посему «обозрения» нашего времени должны быть основательнее, солиднее, так сказать: ибо их цель не похвалы людям своего прихода и брань на других прихожан, не лирические излияния чувства, гордящегося мгновенным успехом; но приведение в ясность существенного вопроса, сознание факта.

Вследствие этого мы и за дело должны приниматься не попрежнему. Рассуждая о чем-нибудь, мы прежде должны привести себе в ясность, *о чем* мы рассуждаем. Мы должны более всего избегать слов, которых значение, утверждено не мыслию, а общественным употреблением, временем и навыком и под которыми посему всякий разумеет, что ему угодно, ни мало не беспокоясь о том, что разумеют под ним другие. К таким-то неопределенным и произвольным словам принадлежит и слово «литература».

За всяким очарованием неизбежно следует разочарование – таков закон жизни. Эпоха

перехода из юношества в мужество обыкновенно сопровождается разочарованием. Обогащенный опытами жизни, изведавший ее противоречия, переходящий в мужество, человек уже не бросается в крайности, не презирает старого потому только, что оно старое, не обольщается новым потому только, что оно новое. Мало этого: часто случается, что он обращается к старому и, в досаду всему новому, только в прошедшем видит хорошее, а в новом упрямо не хочет ничего видеть. Настоящий момент русской литературы ознаменован именно этим направлением. Повсюду слышатся жалобы на настоящее, похвалы прошедшему{6}. Конечно, тут играет важную роль и разочарованное самолюбие, и другие *личные* причины, но в основании всего этого есть и часть истины; главная же причина – досада на себя за прошлое очарование, которое оказалось ложным. С тех пор, как на Руси печатаются книги, до настоящего мгновения, все повторяют: «Литература! литература! русская литература!», не дав себе отчета в значении вообще слова «литература», а следовательно, и в значении слов «русская литерату-

ра». Обольщенные и ослепленные несколькими действительно великими проявлениями творческой силы в русском духе, мы не позаботились определить их отношения к так называемой русской литературе и потому никак не могли догадаться, что произведения наших великих поэтов – сами по себе, а русская литература – сама по себе, что между ними нет ничего общего и ни одно из них не доказывает существования другого. Эта мысль не новая: она давно уже затаилась в некоторых умах и временами пробивалась наружу, возбуждая удивление даже тех самих, которые ее выговаривали. Лет шесть тому назад вдруг раздался резко и громко вопрос: есть ли у нас литература? существует ли русская литература?{7} Так как этот вопрос выговорен был среди общего очарования, когда публика в «Библиотеке для чтения» думала найти пышный и роскошный цвет русской литературы, и так как этот вопрос был совершенно неожидан, то тем сильнее и разнообразнее было произведенное им впечатление на всех и каждого. *Одни* приняли его за странность, имеющую, впрочем, прелесть новости;

*другие* почли его за нелепый парадокс, за пошлую шутку над здравым смыслом; *третьи* увидели в нем непреложную истину; *четвертые* приняли его за оскорбление чувства национальной гордости. Кто был прав, кто виноват? – Кажется, все были правы и виноваты, кроме последних, которые решительно не правы, ибо истина выше всяких чувств – и частных и народных, и смиренных и гордых, а сомнение есть первый шаг и единственный путь к истине. Что же касается до вопроса о существовании русской литературы, – много можно было бы сказать даже и в пользу существования ее; но мы хотим взглянуть поближе на отрицательную сторону вопроса и исследовать ее основательнее; Для этого надобно прежде всего определить предмет вопроса – значение слова «литература». Запутанность споров, делающая невозможным примирение спорящих сторон, происходит чаще всего от несоблюдения этого правила: обыкновенно начинают спорить, не сказав друг другу о чем хотят спорить, и потому все споры бывают большею частью за слова, а не за идеи.

Но прежде нежели приступим к определению вопросного пункта, нам должно поговорить о предмете, который собственно чужд всякой внутренней связи с ним, но который, по причине общественного нашего образования, должен составлять приступ ко всякому рассуждению. Конечно, говоря о нем, мы будем иметь в виду совсем не тех людей, которые знают, что во всякой истине главное дело – сама же истина, а не повторение пошлых общих мест, которые все повторяют по привычке, не веря им.

Нет ничего смешнее и нелепее, как находить дерзким и даже преступным сомнение в существовании нашей литературы. Истина есть высочайшая действительность и высочайшее благо; только одна она дает действительное, а не воображаемое счастье. Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения. О, вы, чувствительные существа, так крепко держащиеся за свои бедные убеждения, предпочитающие самое грубое, но приятное для ваших конфетных сердец заблуждение горькой истине, – к вам в особенности обращаем мы речь свою. Вы приходите

В дом умалишенных и видите человека, который, надев сверх своего вязаного колпака бумажную корону, почитает себя властелином: ведь он счастлив своим убеждением, так счастлив, что вам, знающим всю тягость жизни, должно б было от всей души завидовать его счастью – не правда ли?.. Но отчего же вы смотрите на него с невольным сожалением и не можете без содрогания подумать о возможности для вас самих подобного блаженства?.. Видите ли, самая ужасная истина лучше самого лестного заблуждения? – А между тем как много на свете таких бумажных властелинов и не в одном доме умалишенных, а в своих собственных, и притом иногда очень богатых, домах, между людьми, которые пользуются известностью отлично умных голов?.. Гениальный Сервантес в своем «Дон-Кихоте» творчески воспроизвел идею этих бумажных рыцарей, для которых приятный обман дороже горькой истины... Как рады они своему несчастью, как горды своим позором!.. Неужели же им должно завидовать? Нет, вы смотрите на них с тем насмешливым состраданием, которое уничижительнее, обиднее

полного презрительного невнимания!.. И потому, если бы результатом вопроса о существовании нашей литературы было горькое убеждение в ее несуществовании, и тогда мы были бы в выигрыше, а не проигрыше и обязаны были бы благодарностью и тому, кто сделал этот вопрос, и тому, кто решил его. Лучше благородная, сознательная нищета в действительности, нежели мишурное, шутовское богатство в воображении. Из всех родов нищих самые жалкие – испанские нищие, потому что они просят у вас не копейки Христа-ради, а ста тысяч пиастров займа и, получив от вас копейку, гордо уверяют вас, что скоро возвратят вам с благодарностью ваши сто тысяч пиастров...

Но нам нечего бояться вопроса о существовании нашей литературы и по другой причине: беспристрастное решение этого вопроса не сделает нас нищими, а только оставит нас при небольшом, но ценном сокровище и облегчит наши карманы от меди и мусора, в куче которых зарыто наше чистое золото. Пусть даже останется и медь, но только чтоб мы отличали свое золото от меди и не прини-

мали медь за золото! Вот результат, которым будем мы обязаны вопросу о существовании нашей литературы, – результат прекрасный! Но, кроме того, и сам по себе этот вопрос должен радовать нас: с него начинается новая эпоха нашей литературы и нашего общественного образования, потому что он есть живое свидетельство потребности сознания и мысли. Пушкин не раз изъяснял свое негодование на дух неуважения к историческому преданию и заслуженным авторитетам отечественной литературы, – неуважения, которым обозначилось новейшее критическое движение: мы понимаем это оскорбление великого поэта, но не разделяем его. Этот дух неуважения не случайность, и причина его заключается не в буйстве, не в невежестве, но в разумной необходимости. Действительна одна истина, и только в одной истине благо и счастье; но истина сурова, неумолима и жестока до тех пор, пока человек только спустится к ней и еще не овладел ею. Первый шаг к ней, как мы уже сказали, – сомнение и отрицание{8}. Истина есть единство противоположностей, и пока человек переживает ее



моменты – он бросается из одной крайности в другую, беспрестанно впадает в преувеличение, исключительность и односторонность; но как скоро процесс совершился и различия разрешились в гармоническое единство, то все ограниченные частности улетучиваются в общее, ложь остается за временем, а истина за разумом. Следовательно, нечего бояться истины и лучше смотреть ей прямо в глаза, нежели зажмуриваться самим и ложные, фантастические цвета принимать за действительные. Только робкие и слабые умы страшатся сомнения и исследования. Кто верует в разум и истину, тот не испугается никакого отрицания. Мы видим в Пушкине великого мирового поэта; другие видят в нем только великого русского поэта (отрицая тем *мировое значение России*), а иные находят в нем только отличного версификатора. Кто прав, кто виноват? кого казнить, кого миловать?.. Никого, милостивые государи! В свободном царстве мысли не должно быть казней и ауто-дафе! Пусть всякий свободно выговаривает свое убеждение, если только оно свободно, то есть чуждо личностей и меркантильно-

го духа. О Пушкине говорят и спорят: одно это уже показывает, что предмет важен. Ложное мнение и ошибочные понятия о Пушкине не повредят ему в потомстве, но только скорее решат вопрос о нем. Пушкин явится ни больше, ни меньше, как тем, что он есть в самом деле, и из всех различных и противоположных, мнений о нем утвердится только одно – именно то, которое истинно. Конечно, отвратительно видеть осла, который, помня когти и страшное рыкание льва, некогда приводившие его в трепет, лягает могилу этого «геральдического льва» своим «демократическим копытом» (по выражению самого Пушкина){9}, – однакож должно радоваться даже самым ложным, но только независимым мыслям о великом поэте: они показывают потребность разумного сознания, которое всегда начинается отрицанием непосредственного знания, то есть знания по привычке или по преданию. Вот точка, с которой должно смотреть на так называемый дух неуважения в современной литературе. Этот дух неуважения – предвестник, светлая заря скорого и истинного духа уважения, который будет состоять не

в минералогических характеристиках поэзии и не в пустозвонных фразах о потомках Баг-рима; – фразах, под которыми, как под скорлупою гнилого ореха, кроется пустота и которые тешат своими побрякушками детское самолюбие{10}; но духа, который будет состоять в верной критической оценке каждого писателя по его заслуге и достоинству, – оценке, произнесенной на основании науки об изящном и перешедшей в общественное сознание.

Мы сказали, что в первый раз сомнение в существовании русской литературы было высказано лет шесть тому назад. Но было, помнится, в конце первого года существования «Библиотеки для чтения», следовательно, случилось в самое время, в самую пору. Поразительно и грустно было видеть, как это представил такой плотный журнал, соединивший в себе деятельность почти всех известных, полуизвестных и неизвестных русских литераторов. Кто не помнит этого времени?.. Но здесь мы должны обратиться несколько назад, желая быть понятными равно для всех читателей.

Недавно[1] мы говорили об ошибочном

употреблении слов «словесность» и «литература», которые бессознательно смешивались и употреблялись одно за другое, как будто бы они были не синонимы, а два разные слова для выражения совершенно одной и той же идеи. Вследствие этой ошибки у нас существовала литература еще до Рюрика и благополучно процветала до эпохи Петра Великого, а отсюда начала новое существование благодаря великому таланту Кантемира. Да, была словесность, которая есть везде, где есть слово, язык, но которая состоит из произведений случайных, ничем между собою не связанных, и для которой поэтому нет еще *истории*, а может быть только *каталог*. В литературе совершается развитие духа народа; литература – важная сторона истории народа. В произведениях словесности мы можем проследить только развитие языка, а не духа народного, который является в ней в неподвижности своего непосредственного, так сказать безыскусственного явления. Но в нашей словесности нельзя следить даже и за развитием языка, потому что она выражалась не живым народным словом, а каким-то книжным наре-

чием, неподвижным и мертвым. Однакож лишь только дан был толчок непосредственности народа, как в самом книжном языке оказалось движение, – и сатиры Кантемира в самом деле как будто открывают собою начало литературы. Но что это за литература! Кантемир был первый русский поэт и писал – *сатиры!* Поэзия всякого народа начинается или эпопеею, как впервые пробудившимся в народе поэтическим сознанием его прошедшей жизни, или лирикою, как голосом непосредственного чувства, впервые пробудившегося. Явление же *сатиры* относится скорее к истории общества, а не искусства, не поэзии; оно скорее результат созревшей гражданственности, а не песнь молодого народа, и тем более – не первый цвет молодого искусства. Очевидно, что сатиры Кантемира – явление чисто случайное; что дух народный в них не участвовал; что они вышли не из этого духа, не его выразили и не к нему возвратились. Одно уже иностранное происхождение их автора показывает, что они не имели в самих себе никакой необходимости, могли и быть и не быть, а потому самому и были они словно не

были. Книга приняла их в себя, в книге и остались они; их знают школы, а не общество; но и школам известны они как мертвый исторический факт, а не как живое явление, по законам внутренней необходимости возникшее из предшествовавшего ему явления и оставившее после себя какие-нибудь результаты, которые в свою очередь породили какие-нибудь явления. Да и кто составлял публику сатир Кантемира? – Сам автор их. Они не рассердили даже тех, на кого были писаны, потому что жертвы остроумия Кантемира, за неумением грамоте, не могли читать их. Хороша литература, для которой нет публики!.. Явился Василий Кириллович Тредиаковский, «профессор элоквенции, а паче хитростей пиитических» апотеоз школьной бездарности, – и все заслуги его языку состояли разве в введении двух-трех новых слов (как, например слова «предмет»), и еще в том, что он искажал язык свой варварскою фразеологиею; а заслуги поэзии только в том, что он опрофанировал ее. Между тем этот человек занимает свое место в истории русской литературы; о нем говорят и судят, даже в наше

время нашлись люди, которые очень осердились на Лажечникова за то, что он в своем «Ледяном доме» вывел шута шутком, а не человеком, достойным уважения!{11} – Ломоносов положил начало первому периоду русской литературы, – и школы утвердили за ним титул ее отца. В самом деле, он для поэзии сделал гораздо больше, чем для прозы собственно. Он первый установил фактуру стиха, ввел в русское стихосложение и метры, свойственные духу языка; язык его стихотворений, несмотря на свою напыщенность и изобилие *поэтических вольностей*, естественнее, лучше языка его прозы; сквозь их риторическую одежду изредка блещут искры поэзии, а среди звучных и великолепных фраз иногда попадаются поэтические образы. Что же до его прозы – трудно решить, больше вреда или больше пользы оказал он русскому языку, заковав его в чуждое ему построение латинских и немецких периодов. В том и другом он был законодателем и имел сильное влияние как основатель какой-то школьной, схоластической литературы, мало имевшей (если не совсем не имевшей) отношения к обществу, но

высоко уважаемой в школах. Отсутствие народных элементов, рабская подражательность ложным образцам, слепое уважение к единожды признанным авторитетам и схоластические формы – вот характер всех его литературных произведений: и тяжелых трагедий, и «Петриады», и высокопарных речей, и даже лирических пьес[2]. Сумароков имел большое влияние на распространение в полуграмотном обществе охоты к чтению, и его столь же справедливо называют отцом русского театра, как Ломоносова – отцом русской литературы. Сумароков, по положительной бездарности своей, оказал больше вреда, чем пользы зарождавшейся литературе; но нельзя отрицать, чтоб он не оказал некоторых услуг общественной образованности. Деятельность его была разнообразнее деятельности Ломоносова: он писал во всех родах, и если бы имел поменьше претензий на гениальность и побольше – не говорим таланта, – а способности, не возносился бы в недоступную для его ограниченности превыспренность, а писал бы в легком роде – комедии, фарсы, сатиры, журнальные статьи, – он был бы заме-



чательным для своего времени литератором; и хотя его творения также были бы забыты, но влияние их на свое время было бы действительнее и полезнее. Херасков, также человек без всякого поэтического призвания, еще больше утвердил направление, данное Ломоносовым литературе. Современники называли его российским Гомером и Виргилием; Державин не смел думать даже о равенстве с ним, не только о превосходстве над ним. Надутый и холодный Петров был торжеством схоластической литературы. Сам Державин, поэт по своей натуре и призванию, талант несравненно высший Ломоносова, покорился этому схоластическому направлению, заметному даже в лучших его созданиях... Итак, что же мы видим в этом периоде русской литературы? – пустое и бесплодное подражание, схоластическое, враждебное обществу и жизни направление и случайные проблески дарований – не больше. Видим словесность, но не видим литературы.

*Ломоносовский* период русской литературы был сменен *Карамзинским*. Вместо подражания римлянам и немцам XVII и первой по-

ловины XVIII века мы стали *подражать* французам. Язык сверг с себя латинско-германские вериги и вместо их облекся в шитый французский кафтан прошлого века. Это было шагом вперед: язык приблизился к языку живому, общественному; литература из надутости героической сделалась сентиментально общественной и современной. «Бедная Лиза» убила «Кадма и Гармонию»; стихи к *Лилетам* и *Нинам* сбавили цены с громких од. Трагедии Озерова начали извлекать у зрителей слезы умиления, вместо того чтоб только возводить их души на дыбу мишурных фраз. Между тем, независимо от Карамзина, является поэтический юноша, дает новый толчок языку и вводит в русскую литературу туманы Альбиона и немецкую мечтательность{12}, а самостоятельная, художническая Муза Батюшкова борется с ложным французским направлением – и то побеждает его, то побеждается им. Вот, в кратком очерке, два периода русской литературы – Ломоносовский и Карамзинский, за которыми последовал *Пушкинский*... Теперь взглянем на значение слова «литература».

Слово «литература» по-русски может быть переведено словом «письменность». Отсюда ясно, что литература есть совокупность словесных произведений, хранящихся не в памяти и устах народа, но в книге и развивавшихся в последовательном порядке и зависимости друг от друга. Словесность есть клад, зарытый в земле и немногими знаемый; литература есть общее достояние. Занятие словесностью есть род элевзинских таинств; литературе – открытое дело, имеющее прямое и определенное значение. Произведения словесности – тени, являющиеся на заклинание магика; произведения литературы – живые, всем известные и для всех равнодоступные лица, с определенными именами. Арена словесности – келья монаха кабинет мудреца, зала пиршеств, темный лес, зеленые дубровы и широкие поля; оттуда выходили все произведения ее – хроники, летописи, легенды, песни, сказки и пр. Арена литературы имеет определенное место: это род сцены, на которой разыгрывается драма перед лицом многочисленного собрания, изъявляющего рукоплесканиями и кликами участие свое и вос-

торг. Письмо спасло произведения словесности от забвения и из хранилища памяти перевело их в хранилище рукописи; книга родила и упрочила возможность литературы и произведения самой словесности сделала принадлежностью литературы. Словесность существовала у всех народов, пока слово было достоянием целого народа, а не избранных из среды лиц, составляющих народ: оттого-то и неизвестны творцы этих наивных и могущественных в своей целомудренной простоте народных песен, легенд и сказок. Если сохранились имена летописцев, — этим они обязаны искусству писания, а не сокровищнице народной памяти, удерживавшей в себе только пословицы и песни, как произведения отдельных лиц, которые превосходили все прочие глубиной своих натур, силою талантов, но не образованием. И потому летописи, требовавшие людей, которые бы превосходили современников своим образованием, уже представляют собою как бы начало литературы. Все европейские литературы начались в средних веках богословскими сочинениями, и преимущественно богословскою полеми-

кою; но только книгопечатание могло дать этой полемике и обширнейший круг действия, и большую энергию, и большее влияние, и больший интерес: ибо только книгопечатание могло дать этой великой драме приличную для нее сцену, с которой всем равно были видны ее ход и развитие. Отдельность, изолированность и сепаратность произведений ума – характеристическая принадлежность словесности; общность, взаимная связь, зависимость и соотносительность – характеристическая принадлежность литературы.

Но все это только описание, признаки, а не определение литературы, из которого единственно может быть видна сущность вопроса. Литература есть сознание народа: в ней, как в зеркале, отражается его дух и жизнь; в ней, как в факте, видно назначение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого рода, момент всемирно исторического развития человеческого духа, который он выражает своим существованием. Источником литературы народа может быть не какое-нибудь внешнее побуждение или внешний толчок, но только *миросозерцание* наро-

да. Миросозерцание всякого народа есть зерно, сущность (субстанция) его духа, тот инстинктивный внутренний взгляд на мир, с которым он рождается, как с непосредственным откровением истины, и который есть его сила, жизнь и значение, – та призма с одним или несколькими первосушными цветами радуги, сквозь которую он созерцает тайну бытия всего сущего. Миросозерцание есть источник и основа литературы. Это фон, на котором рисуются ее картины, канва, по которой вышиваются ее узоры. Чтоб объяснить это примером, мы должны указать на литературы важнейших в развитии человечества народов. Разумеется, это будут не характеристики, а только легкие намеки: определить миросозерцание народа – задача великая, труд гигантский, достойный усилий величайших гениев, представителей современного философского знания. Это значит исчерпать всю жизнь народа, о котором идет речь... Однакож попытаемся сделать хоть легкий очерк.

Оставляя в стороне санскритскую поэзию, в исполинских и чудовищных образах кото-

рой ярко светится пантеистическое мирозерцание, которое поняло бога в его воплощении в природе и ее великих процессах, – обратимся к другому народу древности, более близкому к нам, считающим себя европейцами, – к грекам.

Для выражения нашей мысли достаточно будет одной легкой черты из «Илиады» – этого вечно живого слова, субстанциального источника жизни греков, из которого истекла вся дальнейшая их литература и знание и в отношении к которому и трагики, и лирики их, и сам философ Платон – только его развитие и дополнение. Помните ли вы то место в XVIII песне «Илиады», где *Гефест хромоногий* готовится к принятию посетившей его обитель *Фемиды*, среброногой матери Ахиллеса, пришедшей молить его, да сделает по замыслам творческим божественный художник Новые доспехи ее любезному сыну:

*Рек, и от наковальни великан за-  
коптельный поднялся,  
И, хромоногий, медлительно го-  
лени слабые двигал:  
Снял от горна меха, и снаряды,*

*какими работал,  
Собрал все, и вложил их в краси-  
вый ларец среброковный;  
Губкою влажною вытер лицо, и  
могучие руки,  
Выю дебелую, жилистый тыл и  
косматые перси;  
Ризой оделся, и толстым жез-  
лом, подпирался, в двери  
Вышел хромая; прислужницы, под  
руки взявши владыку  
Шли. . . . .  
С боку владыки они поспешали; а  
он, колыхаясь,  
К месту прибрел, где Фемида сиде-  
ла на троне блестящем...*

или то место, в XX песне, где боги, полу-  
чившие соизволение от Зевса сражаться за ту  
сторону, за которую кто хочет, спешат с мно-  
гохолмного Олимпа, кто к рати ахейцев, кто к  
рати данаев:

*С ними к судам и Гефест огром-  
ный, и пышущий силой,  
Шел хромая; с трудом волочил он  
увечные ноги.*

Какая превосходная, дивно прекрасная



картина – чего же? – не красоты, а безобразия!.. Какое поэтически прекрасное безобразие!.. Таковую черту можно подметить только у народа, который на все смотрел и все понимал сквозь призму красоты, которого даже повседневная жизнь до того была проникнута чувством красоты, что женщины, являвшиеся публично с неубранными волосами, подвергались взысканию по закону. Да, только народ-художник, поклонник и служитель красоты, мог из телесного недостатка, из безобразия и уродства создать тип такой оригинальной, такой обаятельной красоты!..

Теперь укажем на три современные нам великие нации – представительницы современного человечества. Германия и Франция представляют собою два противоположные полюса, две противоположные крайние стороны духа человеческого: первая – вся мысль, вся идея, вся созерцание; вторая – вся дело, вся жизнь. Германия понимает (созерцает) жизнь как сознание, – и *отсюда* мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный характер ее искусства и науки; от этого и само искусство ее не что иное, как параллель

философии, как особенная форма созерцательного мышления, и отсюда же абсолютный, мирообъемлющий и вечно юный характер произведений ее литературы *вообще* — и науки, и поэзии. Франция, напротив, понимает (созерцает) жизнь как развитие общности, как приложение к обществу всех успехов науки и искусства, — и отсюда положительный характер ее науки и общественный (социальный) характер ее искусства. Для немца наука и искусство — сами себе цель и высшая жизнь, абсолютное бытие; для француза наука и искусство — средства для общественного развития, для отрешения личности человеческой от тяготящих и унижающих ее оков предания, моментального определения и временных (а не вечных) общественных отношений. И вот причина, почему литература французская имеет такое огромное влияние на все образованные народы; вот почему ее летучие произведения пользуются такою всеобщностью, такою известностью; вот почему они так и недолговечны, так эфемерны. Их содержание — интересы и вопросы настоящей минуты: с нею они возрождаются, с нею и

проходят, ибо в этой кипящей жизнью земле завтра уже не интересуется то, что интересовало вчера. Что такое Корнель и Расин, как не поэты придворного этикета, придворной утонченности жизни? И что герои и героини их так называемых трагедий, эти пудренные греки и римляне, эти гречанки и римлянки, с фижмами и мушками, как не представители выродившейся рыцарственности, любезные кавалеры и дамы блестящего двора Людовика XIV?.. Отцвела французская монархия, с своими маркизами, контами и виконтами, с своими париками и фижмами – и гениальные трагедии пленяют только людей, чуждых эстетического вкуса. Теперь настал другой век: Вольтер и Руссо забыты, энциклопедисты уже не почитаются извергами человеческого рода, хотя – надо сказать правду – за покойниками и много водилось грешков. Так называемая романтическая школа: Гюго, Сю, Жанен, Бальзак, Дюма, Жорж Занд и другие, возникли и преходят на наших глазах и готовятся к смене; но как еще недавно ярка была их слава, как велико было их влияние? И что же они? что такое «Последний день осужденного

к смерти», «Мертвый осел и гильйотинированная женщина»? что такое кровавые нелепости Александра Дюма?<sup>{13}</sup> – протест человека против общества, апелляция человеческой личности на общество, поданная ею этому же самому обществу. Что такое восторженные бредни Жоржа Занда? – profession de foi [3] сен-симонизма в форме повестей, драм, и романов. Что такое «Notre dame de Paris»[4] и все драмы Гюго? – усилие доказать, что и в самых искаженных человеческих натурах есть прекрасные стороны; что чудовище Казимодо может нежно любить женщину, что развратная Марион де Лорм может восстать от унижения и возвратить свое утраченное женственное достоинство чрез чувство любви, развратный шут Трибюле может нежно любить свою дочь, а гнусное чудовище Лукреция Борджиа может обнаруживать глубокое материнское чувство, и т. п. Повторяем: вот причина, почему эфемерные явления французской литературы всегда имели и будут иметь сильнейшее влияние на большинство публики всех образованных народов и пользоваться большею известностью, чем произ-

ведения величайших художников. Те, которые на них нападают, смотря на них с точки зрения искусства, ищут в них не того, чего в них должно искать, — и потому ошибаются, отрицая даровитость и достоинство в людях, обращающих на себя внимание целого мира. Короче: из мирозерцания французского народа можно вывести и хорошие и дурные стороны его литературы: и искренность пламенного чувства, на симпатию к интересам человечества, увлекательную, общедоступную форму, в которую с такою легкостью облакает нередко самые отвлеченные и юношеские — не скажу мысли, но мечты, — и крайности, нелепости, фразистость, любовь к эффектам, риторическую шумиху, явление жалких талантов подобных Ламартину, и пр.

Англичане представляют собою как бы примирение Германии с Франциею. Страна по преимуществу общественная практическая, Англия уважает предание и борется с ним, и побеждает его на законном основании, с соблюдением форм рассчитанным и размеренным шагом, медленно, осторожно, прочно и верно. Чуждая французской отвлеченности

и юношеской способности увлекаться мечтами и идеями, Англия глубоко понимает жизнь; отчизна Шекспира, она владеет литературою, представляющею из себя существенные (субстанциальные) произведения искусства, которые германская мыслительность торжественно признает абсолютными и вечными; но, практическая и положительная, Англия чужда всякой отвлеченности в мышлении, и все ее попытки в философии всегда были ничтожны сами по себе и несколько недостойны ее великих успехов в поэзии.

Характер германского мышления и поэзии – превыспренность и идеальность. Остроумие есть орудие французов во всем, даже в возвышенной поэзии, чему самым разительным примером служат игривые и шипучие, подобно национальному их напитку, создания Беранже. Юмор лежит в основании британского мирозерцания.

Теперь, в чем же состоит наше русское мирозерцание? Наука еще не сделала у нас никакого успеха, и потому не в ней должно искать нашего мирозерцания (ибо мирозерцание выражается не в математике и других

положительных науках, а в истории и философии, которых как наук у нас еще нет). Станем же искать его в поэзии. Развернем наши народные песни и легенды: что найдем в них? Дух силы, какого-то удальства, которому море по колено, какого-то широкого размета души, незнающего меры ни в горе, ни в радости. Но сила эта пока еще чисто материальная: она проявляется в богатырях, которым палица в триста пуд – что тросточка, которые кладут в рот по ковриге и запивают ушатом. Удальство и широкий размет души опять-таки показывает сильную, свежую и здоровую натуру народа, но в них еще не видно никакого мирозерцания. Правда, глубокая грусть, при этой исполинской силе, намекает на какое-то темное[5] сознание противоречия судьбы народа с его значением; но все это относится собственно к его индивидуальности, а мирозерцание есть непосредственное понимание общего, вечного, непреходящего. Но если бы и можно было отыскать в нашей естественной (народной) поэзии следы какого-нибудь мирозерцания, – оно не могло ни развиться, ни произвести какие-либо следствия,

потому что Россия жила изолированной от человечества жизнью, чуждая интересов человечества, и до Петра Великого была, подобно восточным монархиям, – не государством, а народом-семейством. Следовательно, тут нет и слова о литературе. Теперь, откуда же могла взяться литература после Петра?.. И ее, естественно, не было, потому что не могло быть. Нам скажут, что Россия, приобщившись жизни европейской, приобщилась и ее интересам. Прекрасно; но эти интересы нельзя было перевести с товарами из-за границы; их надо было развить из своей жизни, а России было не до того: она хлопотала, как и следовало, об усвоении себе не содержания, а пока только форм европейской жизни. Поэтому удивительно ли, что в поэзии Ломоносова нет никакой поэзии, потому что нет никакого общечеловеческого (в народной форме) содержания? удивительно ли, что народ остался к ней равнодушен и доселе не знает о ее существовании? А между тем в Ломоносове нельзя отрицать ни замечательного поэтического таланта, ни великого ума, ни великой души. Потом Державин. Какое мирозерцание лежит



в основе его творчества? – Оно все высказалось в его дивно прекрасной оде «На смерть Мещерского» – этом величайшем его создании, и особенно в этих стихах:

*Сын роскоши, прохлад и нег,  
Куда, Мещерский? ты сокрылся?  
Оставил ты сей жизни брег,  
К брегам ты мертвых удалился.  
Здесь персть твоя, и духа нет.  
Где ж он? – он там! – Где там? –  
не знаем,  
Мы только плачем и взываем:  
«О горе нам, рожденным в свет!»*

Эта мысль о преходимости жизни, неизвестности за гробом, как гром среди пиршества, *прохлад и нег*, приводила в оцепенение игравших жизнью детей русского XVIII века, – и в одной этой мысли заключается все мирозерцание Державина. Вы ее увидите и в другом великом его произведении «Водопад». Даже в последних его стихах, написанных уже хладеющими от смерти перстами, выразилась все она же, все эта же мысль. Но откуда вышло это мирозерцание столь исключительное и одностороннее? Из народной ли

жизни? – Нет! оно было чуждо народа, чуждо даже средних сословий его: оно перешло из Европы в изношенном виде к вельможеству того времени – единственному слою тогдашнего общества, который прежде всех пробудился к жизни и приобщился, хотя и внешним образом, к интересам европейского существования. Но век тот прошел, а в царствование Александра Благословенного пробудилось к жизни среднее дворянство, уже незадавшееся этого века. Удивительно ли после этого, что наше общество доселе так упорно равнодушно к Державину и не хочет его читать, хоть и признает в нем великий талант? – Велики заслуги Карамзина русскому обществу, русскому образованию, русской литературе; бессмертно и велико имя его: но он сын своего времени, действительный своей эпохи, и не содержание русской жизни развивал он в своих сочинениях, а знакомил русских с содержанием европейской жизни. – Мы сказали о значении Корнеля и Расина как поэтов и трагиков; но, право, не умеем сказать значения Озерова: он был человек не без таланта и подражал французским трагикам, – вот все. –

Не менее Карамзина велика заслуга русскому обществу, образованию, литературе и со стороны Жуковского; но это опять знакомство России с Европою, а не Европы с Россиею. – Не ищите также русского содержания и в художественной поэзии Батюшкова: она чистый космополитизм; она понемногу и французская, и английская, и древнегреческая, и никакая, а главное – нисколько не русская. Где ж тут литература как сознание народа, как выражение его миросозерцания? Где ее историческое развитие? Скажите, в каком отношении между собою находятся эти поэты – Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков? Докажите, что Жуковский непременно должен был явиться после Карамзина, а не прежде – Озеров и Батюшков не прежде их обоих!.. Нет, каждый из них действовал сам по себе и от себя, независимо от прошедшего, не спрашиваясь у настоящего. Это герои, – великие или замечательные личности; но в их лице незаметно исторических судеб народа: герои сами по себе, народ сам по себе. Только один из них требует исключения: это Крылов, – и он всего лучше доказывает вер-

ность нашего взгляда на этот предмет. Его басни вышли из народного русского ума, из русского рассудочного созерцания жизни. Зато в лице Крылова басня русская достигла своего высшего развития, – и народ знает Крылова: ведь кто-нибудь да раскупил же *сорок тысяч* экземпляров его басен!..

Только с Пушкина начинается русская литература, ибо в его поэзии бьется пульс русской жизни. Это уже не знакомство России с Европою, но Европы с Россиею. Этот вопрос, однакож, требует исследования. Для нас величайшее создание Пушкина – его «Каменный гость». Но какое содержание этого произведения? Оно родилось в Испании и взлелеяно ею; его воспроизводил великий Моцарт в музыке, великий Байрон в поэзии. Русский поэт воспроизвел его чуть ли еще не полнее и не глубже Байрона; но его великое создание – какое оно? – *европейское*. Будь Анахарсис великим поэтом, как Эсхил, – он создал бы «Прометей», миф греческий, плод греческого мирозерцания, но творение было бы общечеловеческое, и его оценили бы греки, а скифы даже и не узнали бы о его существовании. С этой

же точки смотрим мы на «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Египетские ночи» и пр.: все это создания великие, мировые и чисто европейские; но какому народу, какому веку принадлежат они? – Человечеству и вечности!.. Что такое, например, Байрон и Шиллер? Первый выразил собою переход от одного века к другому, другой был провозвестником нового века. Тот и другой занимают известное и определенное место во всемирно-историческом развитии человечества, и ни тот, ни другой не мог бы явиться в другое время, а если бы и явился, то его поэзия носила бы на себе другой характер, выразила бы другую мысль, другое содержание. Поэзия Байрона – это вопль страдания, это жалоба, но жалоба гордая, которая скорее дает, чем просит, скорее снисходит, чем умоляет; это Прометей, прикованный к Кавказу; это личность человеческая, возмущившаяся против общего и, в гордом восстании своем, опершаяся на самое себя. Отсюда эта исполинская сила, эта непреклонная гордыня, этот могучий стоицизм, когда дело касается до общего, – и эта грустная

любовь, эта кроткая задушевность, эта нежность и мягкость при обращении к несправедливо отягощенной страданием личности. Шиллер – адвокат человечества, но полный любви и доверенности к общему, провозвестник высоких истин, голос, сзывающий братьев по человечеству от земли к небу, орган неистощимой любви к человечеству; подобно Байрону, он весь в созерцании прав личного человека, индивидуума, против эгоизма общества, предрассудков и темных, непросветленных разумным сознанием верований; но он полон любви и очарования, полон надежд; его поэзия – явно момент, предшествующий поэзии Байрона, и он выразил его в духе своей нации. Оба они стоят на праге, разделяющем XVIII век от XIX, и для обоих нет другого места, другого момента времени. Поэзия того и другого – страница из истории человечества: вырвете ее – и целостность истории исчезла; останется пробел, ничем незаменимый. Где же место Пушкина? какую страницу истории заняла его поэзия?.. Не менее Байрона и Шиллера великий, он тем не менее мог не быть, как и был, – и в истории человечества от это-

го не сделалось бы ни малейшего пробела. Явление мировое и великое по своей творческой силе, он – человек, приобщившийся, по праву человеческой природы, а не по историческому праву, человеческих интересов, усвоивший их себе и вполне воспользовавшийся ими, как готовым содержанием для своего исполтинского гения... Здесь опять еще не видно собственно русской литературы...

Но Пушкин был в то же время и поэт русский по преимуществу, однакож не в «Полтаве» и не в «Борисе Годунове», в которых сама история дала ему готовое содержание и готовое мирозерцание, а в «Евгении Онегине». Здесь он исчерпал до дна современную русскую жизнь, но – боже мой! – какое это грустное произведение!.. В нем жизнь является в противоречии с самой собою, лишенною всякой субстанциальной силы. Герой поэмы – Онегин, человек, чувствующий свое превосходство над толпою, рожденный с большими силами души, но в тридцать лет уже безжизненный, отцветший, чуждый всяких интересов и вместе с тем неспособный войти в общую колею пошлой жизни, равно зевающий

«среди модных и старинных зал»... В конце романа он воскресает к жизни, ибо в нем воскресает желание, но потому только, что оно невыполнимо, – и роман оканчивается *ничем*. Героиня его, Татьяна, и второстепенное лицо Ленский – чудные, прекрасные человеческие образы, благороднейшие натуры; но уже по этому самому они чужды всего остального мира окружающих их людей, связаны с ними только внешними узами; между своими – они как будто между врагами, у себя дома – как будто в неприятельском стане; они – явления отдельные, исключительные и как бы случайные, как великие таланты в русской литературе... Окружающая их действительность ужасна – и они гибнут ее жертвою, и тем скорее, что не понимают, подобно Онегину, ее значения и доверчивы к ней... Весь этот роман – поэма несбывающихся надежд, недостигающих стремлений, – и будь в ней то, что люди не понимающие дела называют планом, полнотою и оконченностью, – она не была бы великим созданием великого поэта, и Русь не заучила бы ее наизусть... Это приводит нас на память другое русское создание –



«Невский проспект» Гоголя, в котором художник Пискарев погиб жертвою своего первого столкновения с действительностью, а подручник Пирогов, поевши в кондитерской сладких пирожков и почитавши «Пчелки», забыл о мщении за кровную обиду...

Вот где видно только начало русской литературы, но еще не русская литература. Она только что начинается, но ее еще нет, и начинается она с Пушкина, а до него решительно не было русской литературы; вместо нее была словесность – ряд отдельных, ничем не связанных между собою явлений, вышедших не из родной почвы русского духа, а из подражания чужим образцам...

Не знаем, как покажется читателям наш взгляд на русскую литературу; но что касается до нас собственно – по пословице «что у кого болит, тот о том и говорит» – мы и тому рады, что постарались решить вопрос ко взаимному удовольствию обеих сторон – и той, которая не признает существования русской литературы, и той, которая держится за нее обеими руками. Да, мы так этому рады, что продолжим наши доказательства, но теперь уже

чисто практическими фактами, чтоб всякий, имеющий глаза, мог видеть.

Литература не может существовать без публики, как и публика без литературы: это факт, столь же неоспоримый, как и почтенная истина, что дважды два – четыре. А есть ли у нас публика?.. Прежде чем решим этот вопрос, определим сперва, что такое публика. Если под этим словом разумеется известное число людей, читающих и покупающих книги, то, конечно, и у нас есть публика, хотя и небольшая относительно всей массы народонаселения, точно так же, как если под «литературою» должно разуметь известное количество печатных книг, то у нас есть литература, хотя и небольшая. Жители провинций, – и это, право, почтенные люди, – приезжая по делам в Петербург или Москву, между другими, более важными вещами, гостинцами для жен, дочерей и сыновей, покупают и книги; на макарьевской ярмарке, делая годовые закупки чая, кофея, сахара и прочего домашнего обихода, они запасаются и книгами. Журналы наши находят себе подписчиков, и даже очень много: у одного журнала, говорят, было

их некогда – давно уж, около пяти тысяч{14}.  
Итак, у нас есть публика!.. Но некоторые под «публикою» разумеют другую сторону одного и того же народа, сознающего себя в литературе, – сторону, которая в созданиях пишущей стороны находит свой же собственный дух, свою же собственную жизнь. По этому мнению, которого и мы придерживаемся, публика находится в живом соотношении с своими писателями: те – производители, она – потребитель; те – актеры, она – зрители, награждающие актеров своим сочувствием, своими восторгами. Литература есть ее сокровище, ее добро: она судит о ее произведениях, назначает им цену, не дает возвышаться жалкой посредственности, ни глохнуть в забвении истинному таланту. Для публики занятие литературою не есть отдохновение от забот жизни, не сладкая дремота в эластических креслах после жирного обеда, за чашкою кофе, – нет, занятие литературою для нее *res publica*, дело общественное, великое, важное, источник высокого нравственного наслаждения, живых восторгов. Несмотря на бесконечное множество лиц, составляющих публику,

она сама есть нечто единое, единичная живая личность, исторически развившаяся, с известным направлением, вкусом, взглядом на вещи. Поэтому публика видит в литературе свое, плоть от плоти своей, кость от костей своих, а не что-нибудь чуждое, случайно наполнившее собою известное число книг и журналов. Где есть публика, там писатели выговаривают народное содержание, вытекающее из народного мирозерцания, а публика свои участием, выражением своего восторга или неудовольствия показывает, до какой степени тот или другой писатель достиг в своем творении этой высокой цели. Где есть публика, там есть и общественное мнение, определенно произнесенное, есть род непосредственной критики, которая отделяет пшеницу от плевел, награждает истинное достоинство, наказывает жалкую бездарность или дерзкое шарлатанство. Публика есть высшее судилище, высший трибунал для литературы. Мы не будем говорить, есть ли у нас публика или до какой степени она есть у нас, но представим несколько фактов, и старых и новых, по которым пусть всякий делает ка-

кое ему угодно заключение. У нас был журнал, старавшийся знакомить нас современной Европою, распространявший мысль о движении мысли по закону сменения старого новым, об отсталости и устарелости всего, что не следит за успехами ума человеческого во времени. Верный своему направлению, этот журнал много пустил в оборот дельных понятий, много уничтожил незаслуженных авторитетов, еще больше уничтожил заплесневелых убеждений, литературных предрассудков, убил наповал влияние на нашу литературу французского псевдоклассицизма. Большое дело было им сделано! Правда, его заслуга была отрицательная: он много уничтожил дурного и ничего не утвердил хорошего; его призвание было – разрушать, а не созидать, но если вы на месте старого, безобразного дома хотите выстроить новый и красивый – вам нельзя будет сделать этого, если не сломаете старого, а это труд не малый! И вот журнал, о котором мы говорим, кончил свое дело вполне так что уж стал повторять самого себя; не говоря ничего нового, начал становиться сам в ряды отсталых благодаря быстрому ходу и

движению всего нового. Наконец он прекратился. Надо сказать, что публика наша оценила его, отличив его от других: он был исключительным ее любимцем, и у него доходило иногда, как говорят, до 1500, и никогда не бывало меньше 1200 подписчиков, в то время как его собратия довольствовались и тремястами, а при шестистах подписчиках считали себя богачами и счастливыми{15}... Вдруг на его место является другой журнал и благодаря ловкой программе, оборотливости книгопродавца и содействию приятельской газеты приобретает вдруг около 5000 подписчиков. Что же? – все думают, что это будет журнал с мнением, направлением, что он пойдет дальше своего предшественника, будет высказывать что-нибудь положительное, будет зреее, основательнее, глубже, словом: – начнет с того, на чем остановился его предшественник. – Ничего не бывало! Новый журнал дебютировал следующими глубоко философскими идеями: изящное не существует само по себе как абсолютная сущность, но есть понятие относительное, которое основывается на личном ощущении всех и каждого и выража-

ется формулою: это хорошо, потому что мне нравится, и это дурно, потому что мне не нравится. Вот что называется итти с веком наравне! Вот истинный шаг вперед!.. Но этим проказа не кончилась: журнал простер несравненно далее свое «изволят потешаться над публикою»; Он вдруг провозгласил, что прогресс человечества – вздор, что, следовательно, история тоже – вздор; что разум – просто надувает человечество; что знание невозможно, наука и ученье – ни к чему не ведут; что исторические романы Вальтера Скотта – плод незаконного совокупления истории с поэзией, и пр. и пр. Вследствие всех сих мудрых правил этот журнал поставил на одну доску великого Гёте с господином Кукольников, упал перед обоими ими на колени и, закрыв глаза, в восторге начал – кричать: «Великий Гёте! Великий Кукольник!» Это было сделано им при разборе «Торквато Тассо», произведения г. Кукольника, отличающегося несколькими довольно удачными стихами и теперь совершенно забытого. Вместе с произведениями Пушкина, Жуковского, князя Одоевского этот журнал начал печатать повестцы извест-

ного рода *веселого* содержания и стишки разных господ, неумевших даже нанизывать рифмы. Не довольствуясь этим, он постоянно, с какою-то систематическою расчетливостию, стал преследовать все, в чем есть хоть сколько-нибудь таланта, и покровительствовать всему, что отличалось бездарностию или посредственностию. И что же? публика тотчас увидела, что над нею «изволят потешаться», что ее «надувают» за ее же деньги, и – перестала подписываться на этот журнал?.. Как бы не так! Несмотря на то, что с обертки этого журнала, на другой же год его существования, слетели все блестящие имена, заманившие публику, несмотря на то, что все литературные знаменитости печатно отказались от участия в издании, – публика российская продолжала восхищаться им около пяти лет, до тех пор пока не заучили наизусть его милых остроумий и пока он не начал, истощив весь запас своего остроумия, повторять самого себя и потчевать ее «раздирательными» остроумиями, за неимением лучших... Вот вам и публика!.. Публика прочла Державина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, заучила наизусть всего



Пушкина, не говоря уже о Баратынском, Козлове, Виневитинове, Полежаеве, Языкове, По-долинском и многих других: надо было ожи-дать, что ее внимание может обратить на се-бя только что-нибудь необыкновенное, а воз-будить восторг только что-нибудь великое... И что же? она не только пришла в восторг от умных, но чуждых вдохновения и поэтиче-ской жизни драм довольно известного в жур-нальном мире драматиста{16}, но даже пове-рила кому-то, сказавшему ей, что г. NN. – ве-ликий поэт, выше и Жуковского и Пушкина!.. {17} Конечно, в стихотворениях г. NN. про-блескивали иногда искорки дарования, но, во-первых, дарования чисто внешнего, огра-ниченного, а во-вторых, поэтические искры его светились сквозь глыбы диких изыскан-ных и безвкусных фраз и образов, – этим ли талантом было восхищаться при Пушкине!.. Вот, едва прошло пять лет, – и стихи г. NN. не только не хвалят, даже и не бранят... Дети мы, дети! нам надо еще не изящных созданий Ра-фаэля, а игрушек с яркими красными цвета-ми, с блестящею позолотою!..

Там, где есть публика, слова «литератор» и

«критик» имеют определенное значение и не присваиваются себе всяким, кто только захочет, но приписываются только заслуге и достоинству. Там нельзя провозгласить себя знаменитым писателем, опекуном языка и любимцем публики за несколько жалких сочинений, в которых видна рутина и бездарность, и еще за постоянное двадцатипятилетнее мارانье писчей и корректурной бумаги. Там освистали бы за громкое титуло «критика» самовольно присваиваемое человеком, который признается печатно, что не только не понимает, почему Гёте называют великим гением, но даже почему почитают его и просто поэтом, а не бесталанным писакою; или который называет печатно плохим романом «Патфайндера» Купера, это гениальное произведение, каким только ознаменовалась, после Шекспира, творческая деятельность; или который утверждает, что «Каменный гость», это высшее, художественнейшее создание Пушкина, замечательно только гладкими стихами{18}; или который силится уверить весь свет, что вся заслуга Пушкина как поэта состоит в усовершенствовании версификации и

легкой, игривой форме, способной увлекать только легкомысленных людей{19}; или который кричит, что Гоголь – забавный писатель, верно списывающий с натуры, что его «Ревизор» ряд смешных карикатур, а не комедия, проникнутая глубоким юмором и ужасающая своею верностью действительности{20}; или который объявляет во всеуслышание, что «Горе от ума», это благороднейшее создание гениального человека, ниже «Недовольных», плохой комедии г. Загоскина{21}; или который клянется, что Лермонтов пишет плохие стихи; или который утверждает, что стихи годны только для сбыта вздорных и нелепых мыслей, которые уважаются читателями только за рифму, и что дельные мысли должно беречь для прозы{22}... За подобный образ мыслей, печатно выражаемый, всех этих quasi-критиков[6], или, лучше сказать, – *критиканов*, публика – только будь она – отвергла бы. Где есть публика, там не будут верить человеку, который собственными сочинениями всего лучше показал и доказал, что его душа чужда поэзии, что в его натуре не лежит никакого созерцания поэзии, как в натуре

глухого не лежит никакого созерцания музыки, а, в натуре слепого, никакого созерцания живописи{23}. Еще менее станут там верить человеку, который в одно и то же время, в одной и той же газете пишет, об одной и той же книге, об одном и том же авторе – и *pro* и *contra*[7], который, например, в одном номере своего листка кричит, что драма его приятеля – гениальное создание, достойное Шиллера, а через два дня, в той же газете, объявляет, чтобы касательно оной драмы *сего* сочинителя ему не верили, ибо де он написал об ее достоинствах, увлекаясь кумовством и «*samaraderie*»[8]. Словом, где есть рублика, – там уже нет места господам Выбойкиным, Пройдохиным, Тряпичкиным, Задариным.

«Вот прекрасно!» – воскликнет иной подмечатель чужих недомолвок, обмолвок и промахов: – «вот прекрасно! Стало быть, у нас нет совсем публики, а только одна толпа?» Погодите, милостивые государи; умных людей везде меньше дюжинных, но тем не менее умные люди есть везде: так им ли не быть в России, этой земле юной и мощной, кипящей умами и талантами? Но в том-то и состоит от-

личие нашего теперешнего образования, что у нас все рассеяно, все особно, все врозь, все в смеси. Вот юноша, изучающий Гегеля, — сын отца, незнающего грамоте{24}; вот профессор, который дальше схоластических риторик не пускался в бездну премудрости, а его молодой товарищ даже уж и не смеется над риториками, но красноречиво умалчивает о их существовании, и т. д. Посмотрите на наше общество: какая калейдоскопическая пестрота! На ином вечере увидишь и модный фрак, и венгерку, и архалук, и длиннополый сюртук с рыжею бородкою —

*Какая смесь одежд и лиц,  
Племен, наречий, состояний!{25}*

У нас есть люди и умные от природы, и европейски образованные, и притом в таком количестве, что могли бы составить собою «публику»; да то беда, что они рассеяны по бесконечному пространству необъятной России, — и потому они одиноки во множестве, потеряны в толпе; благородные голоса их заглушаются нестройным криком и жужжанием толпы и не могут составить общего, гармониче-

ского хора, который бы над всем владычествовал и всему давал тон. Они одиноки среди поглотившей их толпы, как великие таланты среди литераторов и «сочинителей». Но справедливость велит заметить, что и тут не без исключения из общего правила. Если у нас еще и доселе существуют люди, которые благоговеют перед именами Сумароковых, Херасковых и Петровых, то еще гораздо больше людей, которые после Жуковского, Батюшкова и Пушкина утратили способность восхищаться даже Державиным и Озеровым... Если толпа расхватала романы г. Булгарина, Греча, Зотова, это не помешало же таланту Лажечникова быть оцененным по достоинству, хотя Лажечников и не издавал газеты, в которой мог бы хвалить самого себя... Если чуть-чуть не раскупили всего издания сочинений Марлинского, зато теперь трудно найти в какой угодно книжной лавке «Вечеров на хуторе» второго издания, «Арабесок», «Миргорода» и «Ревизора» Гоголя. А успех Пушкина, которого каждый ненапечатанный стих принимался как ассигнация или вексель и которого творения – богатое наследство для его семей-

ства?.. А «Горе от ума», еще в рукописи выученное наизусть несколькими поколениями?.. А между тем... Но что бы мы ни сказали за или *против* этого пункта, все само собою приведется к одному общему знаменателю: у нас есть возможность публики, и со времен Пушкина даже заметно начало, зародыш литературной публики; но у нас еще литературной публики в собственном и обширном значении это: слова нет. Перейдите от публики снова к литературе – и увидите то же самое зрелище. Вопрос о публике решает вопрос о литературе, и наоборот.

Сказанного нами достаточно, чтоб вопрос «есть ли у нас литература?» не казался странным. По крайней мере отныне все возгласы о богатстве нашей литературы, о ее равенстве со всеми европейскими литературами, даже о превосходстве над ними должны считаться или болтовнёю, или бредом тщеславия, помешавшегося на своем мнимом достоинстве. Известное и даже значительное число превосходных художественных произведений не может составить литературы: литература есть нечто целое, индивидуальное; части ее

сочленены между собою органически; самые разнообразные явления ее находятся во взаимном друг с другом соотношении. Несмотря на всю неизмеримость пространства, отделяющего Вальтера Скотта от какого-нибудь Диккенса или Марриета, вы видите в них нечто общее, и это общее есть – британская национальность. Между Вальтером Скоттом с одной стороны, и Диккенсом и Марриетом с другой – сколько примечательных талантов, большею частью совершенно неизвестных у нас на поприще романистики! Подле громадного гения Байрона блестят могучие и роскошные таланты Томаса Мура, Уордсуорта, Сутея, Коупера и многих других. И у нас, назад тому двадцать лет, вышел было могучий атлет с дружиною замечательных, хотя и ставших от него на неизмеримом расстоянии талантов{26}; но теперь, кажется, литературной деятельности суждено проявляться в отдельных лицах, одиноко действующих и с остальным пишущим миром не имеющих никакого соотношения, ничего общего... С 1832 по 1836 год писал Гоголь, и есть ли у нас до сих пор хоть что-нибудь, что, напоминая его,



отличалось бы примечательным талантом? Теперь Лермонтов и... никто, совершенно никто, если исключить два-три таланта, гораздо прежде его явившиеся и продолжающие развиваться в своей собственной и уже определенной сфере. И посмотрите, как сонно тянется, а не развивается то немногое, совокупность чего называется у нас литературой! Умер Пушкин – и мы до сих пор еще не имеем полного собрания его сочинений, из которых некоторые еще нигде и не были напечатаны!.. В 1832 году Гоголь издал свои «Вечера на хуторе», в 1835 свои «Арабески» и «Миргород», в 1836 «Ревизора»; потом напечатал в «Современнике» сцену из комедии, «Коляску» и «Нос», да с тех пор – ни слова... Лермонтов еще напечатал только один роман и небольшую книжку стихотворений. Так ли проявлялась первая деятельность у европейских писателей? Из наших лучших писателей Пушкин написал едва ли не больше всех; но все написанное им, собранное в одну книгу, едва ли сравнится (разумеется, величиною книги) только с поэмами Вальтера Скотта, собранными в одну книгу, с поэмами, которые состав-

ляют его второе, не столь важное, как романы, право на славу и которые, несмотря на все высокое поэтическое свое достоинство, принадлежат к второстепенным или третьестепенным сокровищам музея национальной поэзии; эти поэмы представляют собою уже роскошь, избыток необъятно богатой литературы... Но если Пушкин делал слишком мало в сравнении с неистощимыми средствами своего плодовитого гения, – нет сомнения, что он чрезвычайно много сделал бы, если б преждевременная смерть вместе с жизнью не прекратила и его деятельности; оставшиеся после смерти его произведения показывают, что гений его еще только вступил в апогею своей деятельности и что, действуя он еще хоть десять лет – компактное издание его сочинений не уступило бы в объеме этим огромным, тяжелым книгам, в два столбца мелкой печати, в которые собраны творения Шекспира, Байрона, Гёте и Шиллера{27}. Но другие?.. Воля ваша, у нас авторство – какая-то тяжелая, медленная и напряженная работа! Вот, например, Лажечников: какой богатый талант, какая страстная натура, какое го-

рячее сердце, какая благородная, возвышенная душа отпечатлевается в его романах! Сколько пользы русскому обществу могут приносить они, внося в его жизнь идеальные элементы, побеждая гуманическим началом прозаическую черствость его нравов! И что же? – в *десять* лет только *три* романа!.. И добро бы еще это было вследствие неуспеха, холодного приема со стороны публики первых романов Лажечникова: нет, первые издания «Новика» и «Ледяного дома» были не раскуплены, а расхватааны, и скоро потребовались вторые издания обоих романов. Что ни напиши теперь Лажечников – все будет иметь большой успех... Между молодыми людьми некоторые обнаружили или обнаруживают, в большей или меньшей степени, значительные таланты в повествовательном роде, и что же? – Написав повесть и оживив ею на месяц нашу мертвую литературу или издав две-три повести отдельною книжкою, каждый из них уже и сам не знает, когда он напишет еще повесть или издаст еще книжку... Одна из тех повестей, которые у каждого английского, немецкого и особенно французского нувелли-

ста являются вдруг десятками, наполняют собою и журналы, и альманахи, и отдельно издаваемые книги, – у нас геркулесовский подвиг, великое дело, – и, наконец, мы дошли до того, что журнал, который не хочет пятнать своих чистых страниц дюжинными произведениями посредственности, видит невозможность представлять своим читателям в каждой из двенадцати книжек своих по две или даже по одной оригинальной повести... тогда как французские журналы и даже газеты набиты оригинальными повестями{28}...

Но если мы взглянем на другую сторону предмета, то увидим, что и самая посредственность у нас бесплодна, посредственность, которая, приходясь по плечу толпе, успевала иногда приобретать успехи, свойственные только таланту и гению. Иной «сочинитель» приобрел себе своими суздальскими картинами нравов, выдаваемыми им за романы, и известность и «денег малую толику», что же? – вы думаете, увидев выгодную для себя отрасль промышленности в романо-печении, он напек целые десятки и сотни романов, которые ему так легко печь благодаря

обилию мусорных материалов и топорной обделке? нет, он напек их всего на все какой-нибудь *пятюк* в продолжение целых *пятнадцати* лет... Другой всего на все только пару{29} ... Перед всеми ими посчастливилось одному «Милорду английскому», который вот уж лет шестьдесят каждый год выходит новым изданием, к несказанному утешению своих читателей и почитателей... Иной с плеча отмахивает драмы и водевили; все дивятся легкости, с какою он их стряпает; а поверьте, – дело выйдет, что он в три года настряпал не больше двух десятков... чего же? таких тощих и таких бездарных вещиц, которые ниже всякой возможной посредственности и которых целую сотню легко наготовить в один месяц {30}. О, литература!..

Заведите с кем угодно спор о причинах этой бесплодности, – вы всегда услышите одно и то же: производители обвиняют потребителей, а публика авторов и сочинителей. Та и другая сторона совершенно справедливы в своих доказательствах, равно как совершенно справедлив и тот, кто сказал бы, что никому и не на кого жаловаться, потому что и то и

другое, то есть и наши авторы и наша литературная публика, – существования проблематические, а не положительные, что-то такое, о чем нельзя сказать ни того, чтоб его совершенно не было, ни того, чтоб оно и было действительно. Следовательно, причина не в авторах и не в публике, потому что они сами только результаты другой, более общей причины. Многие обвиняли нашу литературу в том, что она не сближается с обществом, а рисует какие-то, нигде не существующие образы, выдавая их за портреты общества:

*С кого они портреты пишут?  
Где разговоры эти слышат?  
А если и случилось им,  
Так мы и слышать не хотим*{31},

---

сказал поэт, и сказал великую правду, хотя и не разрешил этим вопроса. В XI книжке «Отечественных записок» прошлого года напечатана статья почтенного *титularного советника в отставке* Плакуна Горюнова{32}: «Записки для моего праправнука о русской литературе». В ней автор очень основательно, оригинально и сильно обвиняет нашу лите-

ратуру в ее постоянной стрельбе мимо цели, когда она берется за изображение общества, особенно высшего; но в то же время прибавляет, что наши гостиные – род Китая, царство апатии. Это напоминает великое слово Пушкина, что «сущность гостиной состоит в том, что в ней все стараются быть ничтожными с приличием и достоинством». Где ж вина литературы, если она не находит для своих портретов оригинальных лиц, с отпечатком внутренней жизни? Литература должна быть выражением жизни общества, и общество ей, а не она обществу дает жизнь. Нападая на нее, не надо быть и несправедливым к ней: посмотрите, как иногда крепко впивается она в общество, словно дитя всасывается в грудь своей матери, – и ее ли вина, если с первого слабого усилия она высасывает все молоко из этой бесплодной груди... Недостаток внутренней жизни, недостаток жизненного содержания, отсутствие мирозерцания – вот причина... Где нет внутренних, духовных интересов, внутренней, сокровенной игры и переливов жизни, где все поглощено внешнею, материальною жизнью, – там нет почвы для лите-

ратуры, нет соков для питания; там остается только, как дельвали Ломоносов, Петров, Херасков и Державин, писать громкие оды или, как это было лет десять назад, писать только элегии – эти жалобные вопли разочарования, эти грустные звуки жажды жизни, которая не находит себе ни удовлетворения, ни исхода и томится среди окружающей ее внутренней безжизненности...

Кончив с литературою, обратимся опять к публике. Какое это неопределенное слово – «публика»? Что это такое? Собрание людей, которые с сентября до марта каждого года покупают книги и подписываются на журналы, а в остальное время года, на досуге, читают купленное? Говорят, наша публика больше всего требует от журналов критики. Справедливо ли это? Да – отчасти, потому что больше всего любит она сказочки легкого и веселого содержания да стишки, не слишком хорошие, не слишком плохие, так, чтоб была середка на половине, а после их – и критику. Но что разумеют у нас под словом «критика»? Статью, в которой «славно отделали» того или другого; статью, в которой автор много наго-



ворил ничего не сказав, и если наговорил плавно, легко и так гладко, что нельзя споткнуться на мысли, не над чем задуматься и подумать, то критика хоть куда! Появляется в журнале статья – плод глубокого убеждения, горячего чувства, выражение тех внутренних духовных интересов, которые занимают все существо человека наяву, тревожат его сон, отрывают его от выгод внешней жизни, от забот о своем житейском благосостоянии, заставляют его приносить в жертву всю свою жизнь, все удобства в настоящем, все надежды в будущем – в статье – новые взгляды, невысказанные прежде идеи, – и что же? – на нее смотрят холодно, против нее кричат; один недоволен тем, что она длинна (потому что ему некогда читать длинных статей); другой сердит на то, что она заставляет думать (а он любит читать после обеда, для забавы и споспешествования пищеварению); третий кричит, что автор начал издалека и о главном предмете сказал меньше, чем о побочных, относящихся к нему предметах. Положим, что некоторые из этих обвинений и справедливы, что в статье есть недостатки, и

даже очень важные; но разве горячее чувство, живое изложение, дельность и новость мыслей не в состоянии выкупить этих недостатков! Разве таких статей так много, что вы можете выбирать только лучшее из хорошего? – Ничего не бывало! в слухе вашем еще в первый раз раздается свежий голос; в первый раз слышите вы человека, который высказывает вам то, о чем он много думал, что горячо любил, чему пламенно верил, чем исключительно жил... Да если иная статья и понравится всем безусловно, то не собственным достоинством, которое бы все поняли и оценили, а так как-то, случайно: потому что обругай ее какой-нибудь литературный торгаш – все ему поверят; а если автор статьи ответит торгашу, опять все поверят автору – до нового ругательства со стороны торговца... Тут не берется в расчет ни талант, ни личность, ни безукоризненность деятельности и жизни, ни убеждение, ни чувство, ни ум: мнение всегда в пользу того, кто в полемической перепалке последний остался на арене, то есть чья статья осталась без ответа.

И чего ожидать от толпы, если и от людей

образованных и благонамеренных слышатся иногда такие упреки литераторам и такие упреки критике, что вполне понимаешь тщету и ничтожество всякой известности, пустоту всякой деятельности и из глубины души восклицаешь: «Не из чего хлопотать, не для чего тратить время и силы!» Так, например, нам случалось слышать упреки «Отечественным запискам» именно от образованных и благонамеренных людей, впрочем высоко ценящих это издание{33}, – за что бы вы думали? – за то, что «Отечественные записки» Пушкина называют мировым поэтом, в произведениях Гоголя видят гениальную, творческую деятельность, а в его «Ревизоре» – великое художественное создание... Что же оскорбляет этих, впрочем, умных и благородных людей в наших похвалах? – их, говорят они, преувеличенность. Прекрасно! Но, милостивые государи, не противоречите ли вы сами себе, если, отнимая у журнала право самостоятельного взгляда на предметы, тем не менее хотите пользоваться сами этим правом? Почему же вы должны иметь свой образ мыслей, а журнал не должен иметь его? Неужели,

произнося о чем-нибудь свое суждение, журнал должен соотноситься с мнением г. А., г. В., г. С. и т. д. или бегать к тому и другому, спрашивать их: «Как прикажете написать вот о том или этом?» Ведь вы сами согласны в искренности, в неподкупности наших отзывов о помянутых писателях; почему же могут вас оскорблять эти отзывы? Вы находите их произвольными? но вам представляются причины, на которых они основаны, доказательства, которыми они подтверждаются. Но эти причины и доказательства, может быть, кажутся вам не довольно основательными и достаточными? В таком случае вы имеете полное право не согласиться с ними, но ни в каком случае не имеете права запрещать журналу иметь свой взгляд на предметы, свое убеждение и во всяком случае должны уважать журнал с независимым мнением и самобытною мыслию, хотя бы и противоположными вашим, и отличить его от журналов, в которых нет ни мнения, ни мысли... Некоторые называют похвалы «Отечественных записок» Пушкину и Гоголю пристрастными. Что отвечать на это? Если это пристрастие к

лицам – оно не извинительно, предосудительно, – и как же «Отечественным запискам» оправдаться в нем перед такими людьми, для которых ничего не говорит за себя само дело, для которых немо свидетельство горячего чувства, благородного одушевления? Пусть подумают они хоть о том, что Пушкина давно уже нет на свете, и что он поэтому не может быть ни вреден, ни полезен журналу; и что сочинений Гоголя они не встречали еще в «Отечественных записках». Если же это пристрастие к сочинениям, то уважьте его, ибо если это и пристрастие, то пристрастие благородное и, к несчастью, столь редкое в нашем холодном обществе, пристрастном только к выгодам внешней, материальной жизни, деньгам – и в нашей журналистике, пристрастной только к подписчикам и выгодному сбыту своих изделий... А говорить ли о защитниках *своей* литературы и *своих* «сочинителей», которые как будто лично оскорблены отзывами «Отечественных записок» о Марлинском?..<sup>{34}</sup> Попробуйте растолковать им, что если б журнал был и неправ в мнении о сем сочинителе, то за ним

все-таки остается право свободного и самобытного взгляда на всевозможных сочинителей; что журнал не обязан льстить толпе, повторяя ее устарелые мнения, и что *Amicus Plato, sed magis arnica Veritas*[9]. Смешно и досадно, что у нас еще надо толковать о таких простых и обыкновенных понятиях, о которых уже не толкуют ни в одной литературе... Да, мы начали с конца, а не с начала: мы вздумали «критиковать», не объяснив сперва, что такое «критика» и чем она отличается от полемики, от журнальных перебранок, от журнального пересыпанья из пустого в порожнее. Мы начали издавать книги, не позаботившись растолковать сперва, что такое книга и чем она отличается от колоды карт...

Хорошо также, например, обвинение против «Отечественных записок» за употребление непонятных слов, именно: *бесконечное, конечное, абсолютное, субъективное, объективное, индивидуум, индивидуальное*. Право, мы не шутим! Иной, пожалуй, скажет, что эти слова употреблялись еще в «Вестнике Европы», в «Мнемозине», в «Московском вестнике», в «Атенее», в «Телеграфе» и пр., были

всем понятны назад тому двадцать лет и не возбуждали ничьего ни удивления, ни негодования... Увы! что делать! до сих пор мы жарко верили прогрессу как ходу вперед, а теперь приходится нам поверить прогрессу как попятному движению назад... Да, теперь уже многого не понимают из того, что еще недавно очень хорошо понимали!.. А все благодаря журналам с «раздирательными» остротами и «уморительно смешными» повестями!.. Сверх упомянутых слов, «Отечественные записки» употребляют еще следующие, до них никем не употреблявшиеся (в том значении, в каком они принимают их) и неслыханные слова: *непосредственный, непосредственность, имманентный, особный, обособление, замкнутый в самом себе, замкнутость, созерцание, момент, определение, отрицание, абстрактный, абстрактность, рефлексия, конкретный, конкретность*, и пр. В Германии, например, эти слова употребляются даже в разговорах между образованными людьми, и новое слово, выражающее новую мысль, почитается приобретением, успехом, шагом вперед[10]. У нас на это смотрят наыворот, то есть задом

наперед, – и всего грустнее причина этого: у нас хотят читать для забавы, а не для умственного наслаждения, глазами – а не умом – требуют чего-нибудь легкого и пустого, а не такого, что вызывало бы на размышление, погружало в созерцание высшей, идеальной жизни. И как же иначе? подумать лень и некогда, а если не подумать – непонятно; непонятное же оскорбляет всякое мелкое самолюбие. Слово отражает мысль: непонятна мысль – непонятно и слово, а мыслей у нас боятся больше всего, потому что они требуют слишком тяжелой и непривычной для многих работы – размышления. И можно ли ожидать, чтоб все наши читатели понимали все эти хитрости, если те, которые снабжают его умственной пищей, с удивительным добродушием сознаются в своем неведении?.. Найдите в Германии хоть одного ученика из средних учебных заведений, который не понимал бы, что такое *вещь по себе* (Ding an sich) и *вещь для себя* (Ding fur sich); а у нас эти слова становятся в тупик многих «опекунов языка» и возбуждают смех во многих «любимцах публики», они даже не умеют и переписать их,



ибо вместо *fur sich* пишут *zu sich*[11], подобно русским солдатам, которые генерала *Блюхера* называли генералом *Брюховым*.

Впрочем, нерасположение к «Отечественным запискам» литературного люда имеет еще и другую не менее важную причину: эти господа чувствуют, что истина рано или поздно берет свое – и успех «Отечественных записок» служит им слишком жестоким доказательством этой истины. Эти господа, браня «Отечественные записки» и стараясь выказывать им всевозможное негодование свое, тем с меньшим вниманием и постоянством прочитывают каждую книжку страшного и ненавистного им журнала и прочитывают ее, как говорится, от доски до доски: отчего же иначе им так твердо помнить все опечатки в «Отечественных записках»? Откуда же бы иначе могли они узнавать о существовании неслыханных ими ученых слов и новых идей об изящном и литературе, – идей, которые сами собою никак не могли бы забрести в их почтенные головы: ведь идеи ходят не с закрытыми глазами и не заходят куда попало?.. Некоторые из господ, ратующих против «Оте-

чественных записок» и явно и тайно, и литературно и не литературно, даже невольно подчиняются их духу, и смешно видеть, как они мало-помалу начинают употреблять те самые непонятные слова, которые им столь ненавистны в «Отечественных записках», и еще смешнее видеть, как они, вооружаясь против них гусиным орудием{35}, повторяют их мысли, стараясь уверить и «почтеннейшую публику» и самих себя, что это – их собственные мысли!.. Разумеется, что они первые видят всю тщету своих усилий и тем более сердятся на «Отечественные записки». В самом деле, презатруднительное положение: хотят потчевать публику своим – своего нет ничего, потому что все уже было сказано и пересказано лет двадцать пять назад тому; хотят подделаться под современность и потчевать публику чужим, подслушанным, – не то выходит, вместо Блюхера является Брюхов... Иной «любимец публики», лет тридцать читая свое имя на обертке и внутри издаваемых им книжонок и литературных сплетней, вместо журналов и газеты, и других успел в это время уверить, что он литератор, и сам от

полноты сердца поверил этому, – и вдруг... О ужас! ему доказывают, ясно и неопровержимо, что его литературная известность составлена им на кредит, что он ничего не знает, ничему не учился, что все его сочинения сшиты из чужих лоскутьев, что в них видны только терпение и рутина, но ни искры светлого ума, ни тени таланта!.. Каково ему?.. Поневоле придется употреблять против страшного врага всевозможные средства... Такие проделки смешны, конечно, но и простительны: ведь у страха глаза велики, а смерть на носу придает храбрость и зайцу; по крайней мере это факт, что баран, встретившись с волком, прехрабро бьет о землю передними копытами...

Мы не без умысла распространились об «Отечественных записках». Статья наша должна быть обзорением литературы русской за прошлый 1840 год, в литературе же журналистика играет у нас первую роль; а в области журналистики «Отечественные записки» играют роль какого-то центра, куда направляются удары всех прочих повременных изданий и откуда *новые слова* и *новые мысли* пе-

реходят, хотя и в искаженном виде, в прочие повременные издания. Кроме того, «Отечественные записки» были центром современной журналистики еще и потому, что только в них слышан был светский голос живой современности, а не повторение старого и всем давно наскучившего; только в них принимали деятельное участие и люди, уже давно стяжавшие себе славные имена, и люди молодых поколений, еще только выходящие на поприще литературы. Мы не думаем сказать о себе слишком много, сказав, что история современной журналистики и, частью, современной литературы русской есть история «Отечественных записок»: ведь журнал есть не одно то, что издается по подписке и выходит книжками в определенное время, но и то, в чем, при этих условиях, есть жизнь, движение, новость, разнообразие, свежесть, известное направление, известный взгляд на вещи, словом – *характер* и *дух*. А где же все эти условия выполнены, если не в «Отечественных записках»? – По крайней мере самые ожесточенные враги их печатно сознаются в том, что за них можно заступаться и на них можно напа-

дать, как на нечто определенно и действительно существующее... Боже мой! каких средств не было перепробовано против них! Не только тайно посылались в провинции, но и в самом Петербурге сколько раз распространялись слухи, что «Отечественные записки» прекратятся то на *третьей*, то на *пятой*, то на *седьмой* книжке; а они шли себе да шли, с верностью хронометра являясь каждое *пятнадцатое* число месяца, увесистые и плотные от богатства материалов и – уж тоже не от бедности в материальных средствах... Вот вам и басня Крылова о «Слоне и Моське» в лицах...

Что же делали в это время другие журналы?.. Какие другие журналы? Что такое журнал? – издание, не выдающее в срок обещанных книжек? – Ну, если так, то они делали свое дело очень исправно, кроме, впрочем, «Пчелы», которая всегда выходила в срок, с известиями уже напечатанными в других газетах. Вообще, она с прежним усердием и прежним успехом занималась *своим* делом и, как всегда, при начале подписки была в больших хлопотах. Некоторые из старых толстых

журналов, отстаивая книжками, «раздирательно» острили{36}, и этот новый род остроумия уже никого не забавлял: *sic transit gloria mundi!*[12] «Галатее» после неудачного дебюта без вести пропала, в то самое время, как ее вздумал было оживлять в Москве какой-то досужий «любимец публики»{37}. Спасибо «Галатее» хоть за то, что о ней есть что сказать благодаря ее *salto mortale*[13]... В «Библиотеке для чтения» печатались преимущественно стихотворения гг. Кукольника и Губера. Первый напечатал в ней две драмы исторические и две какие-то исторические же повести: первые – очень хороши, но сухи и скучны, а вторые – просто анекдоты, довольно неудачно рассказанные на нескольких страницах. В «Сыне отечества» было напечатано три стихотворения Пушкина, из которых два интересны как произведения его детской музыки. В «Современнике», как и прежде, было много интересных оригинальных статей, из которых особенно замечательны статьи о Финляндии г. Грота. Талантливый Основьяненко напечатал в «Современнике» несколько интересных повестей и живую, остроумную журнальную

статью «Званные гости». В стихотворном отделении «Современника» были прекрасные стихотворения гр-ни Р-ной{38}; из них особенно замечательно по теплоте чувства и прелести выражения называющееся «В Москву!»

С именем «Отечественных записок» неразрывно соединяется мысль о большей части замечательнейших новостей по изящной литературе, потому что все новое и интересное или напечатано, или рассмотрено в них, в отделении критики и библиографии.

В отделении словесности помещено два стихотворения Пушкина; почти в каждой книжке печатались стихотворения Лермонтова, Кольцова, Красова; между ими являлись стихотворения кн. Вяземского, Баратынского, г-ни Р-ной; – вой{39}, Глинки (Ф. Н.), Ознобишина, Полежаева; переводы из Гёте, Гейне и Рюкерта – Струговщикова, Каткова, Аксакова; читатели, верно, заметили также некоторые из стихотворений –Θ–, Огарева и других. Из оригинальных повестей: «Косморама» кн. Одоевского, отрывок из нового романа Лажечникова «Колдун на Сухаревой башне», «Тамань» Лермонтова, «Большой свет» и семь

глав из «Тарантаса» гр. Соллогуба; «Раздел имения», «Белая горячка» и «Прекрасный человек» Панаева; «Верное лекарство» Гребенки; «Недоумение» А. Н. {40} – составляли почти единственные живые и интересные новости литературы прошлого года. Не говоря о множестве переведенных повестей, «Отечественные записки» с гордостью могут указать на «Путеводителя в пустыне», новый роман Купера, переведенный с английского как еще не был переведен по-русски ни один роман Вальтера Скотта или Купера. «Путеводитель» на-днях вышел отдельною книгою и потому представляет собою важную литературную новость и на 1841 год {41}. В последней книжке «Отечественных записок» была напечатана переведенная с немецкого фантастическая повесть Гоффмана – «Мейстер Фло» {42}.

Из ученых статей «Отечественных записок» прошлого года читателями, вероятно, были особенно замечены: «О философии» М. Бакунина; «Общественная и частная жизнь китайцев» О. Иакинфа; «О возобновлении афинских памятников древности в конце 1836 и начале 1837 года»; «О пище» Я. А. Чару-



ковского; «Звездное небо» Д. М. Перевощикова и пр. В переводных ученых статьях «Отечественные записки» имели в виду преимущественно ознакомление публики с представителями европейских литератур и художников вообще, и читателям, верно, известны статьи: «Э. Т. А. Гоффман, как музыкант», «Обзор главнейших мнений о Шекспире, высказанных европейскими писателями в XVIII и XIX столетиях», «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру», соч. Рётшера{43}; «Лессинг, его жизнь и творения». Сверх того, были напечатаны статьи исторического содержания: «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими»{44}, «О сочинениях Венелина по славянской истории», «Письмо князя Пожарского к императору Максимилиану», «Исторические известия о Нижнем-Новгороде», «Записки князя Долгорукого» и пр.[14].

В отделе критики рассмотрены: «Горе от ума», комедия Грибоедова; «Полное собрание сочинений Марлинского»; «Подарок на новый год, две сказки Гоффмана»; «Детские сказки дедушки Иринея»{45}, «История древ-

ней русской словесности», соч. М. Максимовича; «О жизни литературной, или ответ на рецензии Терапевтического журнала и статей «О жизни», соч. Ив. Зацепина; «О Ганеманне и гомеопатии, практическое сочинение Семена Вольского»{46}; «Герой нашего времени, соч. Лермонтова»{47}; «Путешествие барона Врангеля вдоль северного берега Сибири и в Ледовитом море в 1820–1824 годах»; «Сочинения графини Сарры Толстой»{48}; «Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова, второе издание»{49}; «Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты».

В Библиографической хронике постоянно были разбираемы *все* книги, издававшиеся в России на русском и иностранных языках, тотчас по их выходе, – так что библиографическая хроника «Отечественных записок» есть самая полная и отчетливая летопись современной русской литературы. Известия о замечательных явлениях современной французской, немецкой и английской литературы составляли постоянную статью почти в каждой книжке «Отечественных записок». Материалы для истории, статистики, целые пере-

водные повести, особо от помещаемых в отделе словесности, постоянные отчеты о русском и французском, а иногда и английском театрах, новости по части наук, открытий, литератур в Европе и у нас, в России, – вот содержание Смеси «Отечественных записок».

В прошлом году начал издаваться драматический альманах – журнал «Пантеон русского и всех европейских театров». Успех этого повременного издания, при существовании «Репертуара», показал, что и у нас драма становится тем, чем недавно был роман, – исключительно любимым родом поэзии. В то время как «Репертуар» потчевал свою публику невинными водевилями, частью переведенными, частью переделанными с французского, и чувствительными драмами домашнего печения, «Пантеон» подарил своих читателей «Бурею» и «Цимбелином» Шекспира и несколькими, более или менее, примечательными драмами, переведенными с немецкого, английского и французского; из них особенно примечательны: «Двадцать четвертое февраля», драма Вернера, превосходно переведенная с подлинника г. Струговщиковым, и «Нор-

ман, морской капитан», драма Бальмера, переведенная с английского прозою; а из оригинальных – «Торжество добродетели», драматический очерк канцелярской жизни г. Меншикова, «Благородные люди», комедия в двух действиях его же, г. Меншикова, и «Петербургские квартиры», комедия-водевиль г. Кони, примечательная в целом как веселая и оригинальная шутка и превосходная своим четвертым актом, составляющим как бы особую комедию в комедии{50}. Если справедливы слухи, то на будущий год «Пантеон» подарит русскую публику драмою Шекспира «Ромео и Юлия», которая превосходно переведена с подлинника стихами{51}. «Пантеон» возбудил соревнование и в «Репертуаре», который подарил публику очень хорошим переводом в прозе «Антония и Клеопатры», выдав эту драму Шекспира в виде особого приложения к одной из своих книжек.

В конце прошлого года журнальное движение проявилось еще сильнее. Возобновляется старый журнал «Русский вестник», издававшийся известным литературным ветераном и патриотом, С. Н. Глинкою, который будет

иметь сотрудниками целых три действующих лица: г. Греч, бывший некогда владельцем и редактором «Сына отечества» и издавший в прошлом году, вместо обещанных 12 книжек, только одну книжку «Детского собеседника», г. Полевой, бывший редактор «Сына отечества» и недокончивший его, г. Кукольник – бывший редактор «Художественной газеты», не издавший ни одного номера ее в 1839 году[15]. Странное явление – журнал с *четырьмя* редакторами! Дай бог, чтобы на нем не сбылась пословица: *у семи нянек дитя без глазу!*.. Какое будет его направление, что скажет он нам нового – можно предвидеть по именам редакторов, которые еще так недавно и с таким блеском выказали свои журнальные способности. Г. Булгарин, не участвующий в «Русском вестнике», нынешний год делается редактором хозяйственного журнала «Эконом», который издается г. Песоцким, издателем «Репертуара».

Итак, журналов стало у нас больше прежнего; но это только видимый выигрыш со стороны литературы, а в сущности дело остается все тем же, чем и было: имя не составляет ве-

щи, и если один и тот же человек издает хоть десять журналов – эти десять равны единице, разделенной на десять частей и в десять раз разделившей силы и деятельность редактора. Одно и то же направление, один и тот же образ мыслей и взгляд на вещи только надоедают, если повторяются в нескольких изданиях. И потому к помянутым нами *новым* журналам очень идет этот *старый* стих:

*Ни что не ново под луною!*

До 1831 года в одной Москве было больше журналов в *сущности*, чем теперь в обеих столицах по *числу*. Не говоря уже о «Телеграфе», которого важная заслуга единодушно признана теперь и друзьями и недругами покойника; не говоря о «Московском вестнике», знакомившем нашу публику с германскою литературою и германским воззрением на жизнь, науку и искусство, – самый «Вестник Европы», доживавший тогда свои последние годы, был явлением примечательным и интересным. Это была умирающая мысль, отстаивающая себя в отчаянной схватке против враждебной новизны... Какое характеристи-

ческое издание было в начале и в конце своем – «Телескоп»! Да, тогда имя было вместе – делом, а теперь – только новые имена журналов, а сущность остается все та же, все старая же...

Кстати о московских журналах с направлением и характером: в Москве издается с нынешнего года новый журнал «Москвитянин». Главный редактор его г. Погодин, главный сотрудник г. Шевырев. Не беремся пророчить о судьбе нового издания, но смело можем поручиться, что он есть предприятие честное, добросовестное, благонамеренное, чисто литературное и нисколько не меркантильное; что у него будет своя мысль, свое мнение, с которыми можно будет соглашаться и не соглашаться, но которых нельзя будет не уважать, – против которых можно будет спорить, но с которыми нельзя будет браниться{52}.

От журналистики обратимся собственно к литературе 1840 года и посмотрим, чем-то обогатила она нас. Нельзя сказать, чтоб по изящной литературе в прошлом году не вышло нескольких примечательных книг. «Римские элегии» Гёте, переведенные размером

подлинника г. Струговщиковым, «Кот Мурр», роман Гоффмана, и «Путеводитель в пустыне» Купера – суть важные приобретения, или, лучше сказать, усвоения нашей литературы из сокровищницы литератур немецкой и английской, особенно первое, как переведенное стихами, достойными стихов подлинника. К числу этих приобретений должно отнести и «Подарок на Новый год», две сказки Гоффмана («Неизвестное дитя» и «Человек-щелкушка»), очень хорошо переведенные, тогда как первый перевод их (в «Серапионовых братьях») очень дурен. Кстати о переводах вообще, то есть и отдельно вышедших, и помещенных в журналах, и даже нигде не напечатанных: наша литература принялась за Шекспира, несмотря на то, что публика еще не думает серьезно приняться за него. Мы уже упоминали о «Буре», «Цимбелине», помещенных в «Пантеоне», и «Антонии и Клеопатре», вышедшей при «Репертуаре» особенною книжкою; теперь упомянем о другом (в стихах) переводе «Бури» – г. Сатина, только что вышедшем в Москве; сверх того, как слышно, печатаются два перевода «Сна в летнюю ночь» – г.



Вельтмана и г. Сатина, приготовлены к печати (хотя и неизвестно наверное, будут ли напечатаны): «Король Иоанн», «Ричард II» и «Генрих IV», переведенные в прозе, с подлинника, г. Кетчером; «Ричард II», «Двенадцатая ночь, или Что угодно» и «Гамлет», переведенные с подлинника стихами г. Кронебергом; «Ромео и Юлия», переведенная с подлинника, стихами, г. Катковым. Кроме того, говорят, переведены: «Кориолан», «Много шума из путяков», и пр. Мы слышали даже, что один молодой человек, посвятивший себя изучению Шекспира, и собственно для него изучивший английский язык, перевел стихами – страшно вымолвить! – *всего Шекспира* И так, важность вопроса о Шекспире теперь состоит не в том, как и кому переводить его, а в том – *для кого*, а следовательно, *как и кому* печатать его{53}

... Воля ваша, а странна наша литература!..

Оригинальных изящных произведений в прошлом году вышло немного; но «Герой нашего времени» и «Стихотворения Лермонтова» – эти две книжки, которые одинокими пирамидами высятся в песчаной пустыне современной им литературы, делают 1840 год од-

ним из плодороднейших в литературном отношении и дают ему цену хорошего десятилетия. К этим же двум книжкам мы присоединили бы и сочинения графини Сарры Толстой, если бы первая часть их вышла в прошлом, а не в 1839 году. В прошлом же году вышли новые повести г-жи Жуковой, впрочем, уже известные публике из журналов; «Пан Халявский» Основьяненка – эта превосходная сатира, написанная рукою отличного мастера; три повести г. Александрова (Дуровой) – «Ярчук», «Угол» и «Клад»; новый роман г. Вельтмана «Генерал Каломерос». Ко всему этому должно отнести «Одесский альманах», которым почти начался прошлый год: он примечателен многими прекрасными пьесами. В конце года появилась «Утренняя заря», которая уже принадлежит библиографии наступившего нового года. Важным приобретением для русской литературы считаем маленькую книжечку, изданную г. Сухановым, под названием: «Древние русские стихотворения, служащие дополнением к Кирше Данилову». Примечательна книжка г. Боричевского: «Повести и предания народов славянского племе-

ни». Из старых вышли вновь роскошное издание *басен Крылова и Полное собрание сочинений Дениса Давыдова*.

Вот исчисление примечательных явлений по части ученой литературы прошлого года: «Путевые записки, веденные во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году, Владимиром Давыдовым», с великолепным атласом in folio [16]; «Путешествие по Египту и Нубии в 1834–1835 г.» А. Норова; «Путешествие маршала Мариона в Венгрию, Трансильванию, Южную Россию, по Крыму и берегам Азовского моря, в Константинополь, – некоторые части Малой Азии, Сирию, Палестину и Египет»; «Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах»; «Очерки России», изд. В. Пассеком; «Описание посольства, отправленного в 1659 от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II-му, великому герцогу тосканскому»; «Записки Желябужского»; «Сборник князя Оболенского»; «Влахо-болгарские грамоты, собранные Ю. Венелиным»; «Оборона летописи русской Несторовой» г. Буткова; «Киевлянин» г. Максимовича; «Руководство к познанию

древней истории» С. Смарагдова; «Изображение переворотов в политической системе европейских государств», соч. Ансильона (т. II, *дурно переведенный*); «Первые четыре века христианства», «Первобытная история христианской церкви у славян» Мацеевского; «Естественная история Оренбургского края», соч. Эверсмана, «Первобытный мир России», соч. Эйхвальда, «Основания чистой химии» Гесса, *изд. пятое*; «Гальваноластика» Якоби; «История философии архимандрита Гавриила», *изд. второе*; «История философии древних времен» Риттера; «Введение в философию» г. Карпова; «Система логики Бахмана»; «О мере наказаний» С. Баршева. Продолжались издания «Деяний Петра Великого» Голикова, доведенные до XIII т. включительно; «Живописного путешествия по Азии», соч. Эйрие, доведенного до конца; «Очерков с произведений живописи», изд. г. Тромониным; «Записок герцогини Абрантес» (т. XV).

Вышло *четвертым* изданием «Путешествие к святым местам» и *третьим* — «Путешествие к святым местам русским». Гг. Язвинский и Ольдекоп издали несколько руко-

водств к языкоучению.

Кроме всех этих книг, может быть, мы не упомянули и еще около десятка более или менее примечательных сочинений, особенно по части математики, медицины и сельского хозяйства. Число же всех книг, вышедших в прошлом году в России, на русском и иностранных языках, беллетрических и ученых, превосходных, хороших и дурных, — не составляет и *пяти*сот нумеров, если не включать сюда журнальные статьи, отпечатанные особыми брошюрами, азбуки, молитвенники и проч. Да, немного!

Прошедшее нашей литературы неблестяще, настоящее тускло; но за будущее нам несколько не должно отчаиваться. У нас нет литературы в точном и определенном значении этого слова, но у нас есть уже начало литературы, и, соображаясь с средствами, особенно же с временем, нельзя не дивиться, как уже много сделано. Каких-нибудь сто лет едва прошло с того времени, как мы не знали еще грамоты, — и вот уже мы по справедливости гордимся могущественными проявлениями необъятной силы народного духа в отдель-

ных лицах, каковы: Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Грибоедов и другие. Нападая на нашу литературу, мы хотели только противоборствовать смешному самообольщению, которое в немногом видит бесконечно многое, и добродушно верить, что русская литература превосходит и английскую, и немецкую, и французскую; мы хотели показать дело в настоящем положении, не скрывая ни хороших, ни дурных его сторон, хотели рассмотреть беспристрастно вопрос о существовании русской литературы, не утаивая ни того, что можно сказать *против* него, ни того, что можно сказать *за* него. Повторяем: у нас еще нет литературы, как выражения духа и жизни народной, но она уже начинается, — а это, в такой короткий период времени, — успех, и успех великий, который не должен обольщать нас в настоящем, но который должен казаться залогом великих надежд в будущем. Если сила и мощь отдельно действующих лиц в нашей литературе поражают вас невольным удивлением, то чем же должна быть наша литература, когда она сделается

выражением национального духа и национальной жизни?.. И мы уже видим начало этого желанного времени... Да будет!..

# Примечания

«**О**течественные записки», 1841, т. XIV, № 1, отд. V, стр. 2–31 (ценз. разр. 1 января 1841). Без подписи.

Эта статья открывает серию годовых обзоров русской литературы. Белинский придавал особое значение жанру «обзрений». «Кто на литературу смотрит, как на что-то важное, – писал Белинский в 1843 году, – в глазах того обозрения литературы не могут не иметь большой важности. Литературные обзрения – это живая летопись мнений различных эпох». Литературные обзрения – «это итоги каждого года». В «Литературных мечтаниях» он полемически противопоставлял жанру «литературно-критического обозрения» в романтическом и фельетонном оформлении жанр «критической элегии». В следующем своем обзоре «Ничто о ничем» он уже принципиально заявлял, что бедность русской литературы определяет обедненность этого критического жанра. Что обозревать? – иронически восклицает молодой критик.

С конца 1840 года начинается новый, наи-



более значительный период в деятельности Белинского. Переход к новым философским и общественным позициям, связанный с отказом от примирения, решительно изменяет его отношение к коренным вопросам современной литературы. В письме Боткину, написанном во время работы над настоящей статьей, Белинский писал: «Кстати о писании. Я бросаю абстрактные общности, хочу говорить о жизни по факту, о котором идет дело. Но это так трудно: мысль не находит слова...» («Письма», т. II, стр. 192).

Структурные особенности жанра годового обзора объясняются задачей осмысления разнообразных явлений прошедшего года в их единстве, взаимосвязи. Обозреватель подводит их «под одну точку зрения». Белинский всегда стремится «показать преобладающее направление, общий характер литературы в данное время».

В статье «Русская литература 1840 года» Белинский выдвигает проблему реализма и приходит к пересмотру вопроса о существовании русской литературы. Правда, он еще по-прежнему настаивает на том, что «у нас нет

литературы», но зато со всей силой обрушивается на общество, которое не дает достойного содержания русской литературе. «Где ж тут литература, – восклицает Белинский, – как сознание народа, как выражение его мирозерцания?» «Чудные, прекрасные человеческие образы, благороднейшие натуры» Онегина, Татьяны, Ленского чужды и даже враждебны миру окружающих их людей. «Окружающая их действительность ужасна – и они гибнут ее жертвою, и тем скорее, что не понимают, подобно Онегину, ее значение, и доверчивы к ней...» Вот почему роман Пушкина исчерпал русскую жизнь, дал глубокую и грустную картину русской действительности. «Вот где только начало русской литературы», – многозначительно заканчивает Белинский.

Данная статья создавалась в условиях назревающего конфликта между Белинским и славянофилами. Не случайно именно в конце 1840 года он окончательно порывает с К. Аксаковым.

Одновременно с обзором Белинский печатает небольшой, но блестящий по глубине и сатирической резкости памфлет на москов-

ских проповедников застоя и косности («Чын  
киу тонг, или три добрые дела». Полн. собр.  
соч., т. V, стр. 522).

# Сноски

## 1

«Отечественные записки», 1840, т. IX, отделение Критики, статья «Истории древней русской словесности» г. Максимовича, стр. 37{54}

[^^^]

## 2

Просим заметить, что здесь говорится о Ломоносове только как о поэте-литераторе, а не как об ученом. Ученые заслуги его бессмертны и еще не оценены надлежащим образом.

[^^^]

### 3

Исповедание веры. – *Ред.*

[^^^]

### 4

«Собор Парижской Богоматери». – *Ред.*

[^^^]

### 5

Здесь разумеется история народа от ее начала до времен Петра Великого – времени, когда кончилась собственно народная поэзия и народу было указано его истинное, великое назначение.

[^^^]

## 6

Мнимых критиков. – *Ред.*

[^^^]

## 7

За и против. – *Ред.*

[^^^]

## 8

«Товариществом». – *Ред.*

[^^^]

## 9

Платон (мне) друг, но еще больший (мне) друг истина. – *Ред.*

[^^^]

## 10

Впрочем, эти «непонятные» слова со дня на день становятся для всех понятными из употребления. Хотя «Отечественные записки» всегда употребляли их с объяснением и в тексте, и в выносках, но скоро они поговорят об этих словах в отдельной большой статье, чтоб сделать их ясными, как *дважды два – четыре.*

[^^^]

## 11

К себе. – *Ред.*

[^^^]

## 12

Так проходит слава мира! – *Ред.*

[^^^]

## 13

Буквально: смертельный прыжок; обычно употребляется в смысле – трюк. – *Ред.*

[^^^]



## 14

С нынешнего года в отделе наук «Отечественные записки» обратят особенное внимание на историю и будут представлять своим читателям живые, доступные всем и интересные для всех исторические статьи.

[^^^]

## 15

Здесь кстати заметить, что если литераторы имеют причины жаловаться на публику, то и публика, с своей стороны, едва ли еще не больше имеет прав жаловаться на литераторов. Кредит и доверенность между той и другою стороною должны быть основою их взаимных отношений; но как же требовать от публики, чтоб она доверяла и подписывалась в то время, как она не знает, что ей делать с билетами на две русские истории и прочие предприятия г. Полевого, не выдавшего публике всего на все 22-х томов, на «Россию» и компактное издание сочинений г. Булгарина,

О которых нет ни слуху, ни духу, на «Детского  
собеседника» г. Греча, и пр. и пр.?..

[^^^]

**16**

Большого формата. – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

Первая цитата из «Каменного гостя» Пушкина: вторая – концовка «Думы» Лермонтова.

[^^^]

## 2

Первое «обозрение»: (Н. Греча) появилось в 1814 году в «Сыне отечества», но особенно «обозрения» распространились в альманахах и журналах 20-х и начала 30-х годов (их писали Бестужев, Плетнев, Киреевский, Надеждин и др.).

[^^^]

### 3

Замечание Белинского относится к Н. Полевому и его неоконченной «Истории русского народа».

[^^^]

### 4

«Последний Новик» – И. Лажечникова, «Конец Бессмертный» – Вельтмана, «Киргиз-Кайсак» – В. Ушакова.

[^^^]

## 5

Речь идет о стихах Бенедиктова и о теории Шевырева, боровшегося против «гладкости» пушкинского стиха.

[^^^]

## 6

Белинский обличает славянофилов и казенно-патриотических писак. Первые начали с 1839 года развивать активную пропаганду своих идей. От них не отставали и такие репутильные издания, как «Северная пчела», «Сын отечества». В «Сыне отечества», в котором критикой заведывал Н. Полевой и сотрудничал барон Розен, твердилось непрестанно об упадке современной литературы (см. «Очерк русской литературы за 1838 и 1839 гг.», «Сын отечества», 1839, тт. VII, VIII, IX). В статье о «Репертуаре русского театра» («Отечественные записки», 1840, № 4) Белинский писал об этих статьях: «В них на один и тот же тон распевается одна и та же мысль, —

что теперь все не так, как было, и в современной литературе видна одна посредственность...» (Полн. собр. соч., т. V, стр. 238).

[^ ^^]

## 7

В «Литературных мечтаниях».

[^ ^^]

## 8

Белинский полемизирует с Пушкиным, который писал в «Письме к издателю», что Белинскому недостает «более уважения к преданию, более осмотрительности». Следовательно, Белинский знал, кто был автором «Письма к издателю» (см. вступительную заметку к статье «Несколько слов о «Современнике»).

[^ ^^]

Белинский имеет в виду недавно осмеянную им статью «Северной пчелы» (1840) по поводу «Очерков русской литературы» Полевого. В этой статье «Пчела» упрекала последнего за то, что он восхваляет Пушкина. «Пчела» заявляла, что у Пушкина нет ни чувства, ни идей, ни характеров, а только «музыка, гармония слова, все гладко, чисто, и мелкий жемчуг, и мелкие алмазы...»

[^^^]

## 10

«Пустозвонными фразами о потомках Багри-ма» Белинский называет статью Н. Полевого о Державине в «Очерках русской литературы». Так же резкий отзыв о Полевом см. в письме к В. П. Боткину от 10 декабря 1840 года.

[^^^]

## 11

«Осердились на Лажечникова» в «Северной пчеле» (1839, №№ 46–48).

[^^^]



## 12

Характерная для Белинского оценка роли В. А. Жуковского в русской литературе.

[^^^]

## 13

«Последний День осужденного к смерти» – В. Гюго; «Мертвый осел»... Ж. Жанена; «Кровавые нелепости» – Популярные мелодрамы А. Дюма (отца).

[^^^]

## 14

«Библиотека для чтения».

[^^^]

## 15

Около трехсот подписчиков имел «Московский вестник», шестьсот – семьсот – «Телескоп» (это вызывало бешеную зависть Погодина). «Московский телеграф» имел в тридцатые годы большую популярность (1200–1500 подписчиков).

[^^^]

«Известный в журнальном мире драматист» – Полевой. О его пьесах Белинский писал 30 декабря 1840 года Боткину: «Я могу простить ему отсутствие эстетического чувства... могу простить искажение «Гамлета»... грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского... глупое благоговение к риторической музе Державина и пр. и пр., но для меня уже смешно, жалко и позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные («Иголкина» и т. п.), его пошлые комедии и прочую сценическую дрянь...»

[^^^]

## 17

Комментаторы ошибочно видят здесь намек на Тимофеева. Речь, конечно, идет о Бенедиктове, который пять лет назад (в 1835 году) издал первую книжку стихов. «Кто-то», сказавший, что №№ выше Пушкина, – Шевырев. См. примеч. к статье «Стихотворения Бенедиктова».

[^^^]

## 18

Речь идет о Сенковском.

[^^^]

## 19

С. Шевырев и Булгарин. См. выше.

[^^^]

## 20

Н. Полевой («Сын отечества», 1839).

[^^^]

## 21

Белинский имеет в виду Н. Полевого и его статью о «Недовольных» (см. «Горе от ума» в наст. томе).

[^^^]

## 22

Это утверждал Сенковский.

[^^^]

## 23

Белинский имеет в виду Шевырева.

[^^^]

## 24

Речь идет, вероятно, о А. В. Кольцове.

[^^^]

## 25

Цитата из поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

[^^^]

## 26

Пушкин.

[^^^]

## 27

Речь идет об однотомниках, незадолго перед этим введенных в моду Бальзаком.

[^^^]

## 28

В письме к Боткину от 31 октября 1840 года Белинский писал: «Краевский не знает, что и делать с оригинальными повестями – негде брать да и только!»

[^^^]

## 29

Ирония по адресу Булгарина и Греча.

[^^^]



## 30

Намек на пьесы Полевого.

[^^^]

## 31

Цитата из стих. «Журналист, читатель и писатель» Лермонтова.

[^^^]

## 32

Плакун Горюнов – псевдоним В. Ф. Одоевского.

[^^^]

### 33

Речь идет о дискуссии Белинского с друзьями-москвичами.

[^^^]

### 34

Отзывом о Марлинском оскорбился Н. Полевой.

[^^^]

### 35

То есть – гусиными перьями.

[^^^]

Намек на «Библиотеку для чтения».

[^^^]

«Галатея» возобновилась в 1839–1840 году. В ней был напечатан сочувственный отзыв о постановке «Пятидесятилетнего дядюшки» Белинского. «Любимец публики» – Межевич.

[^^^]

## 38

«Р-на» – графиня Растопчина.

[^^^]

## 39

«– ва» – псевдоним К. К. Павловой. В «Отечественных записках» напечатан ряд ее переводов (1840, тт. III–X).

[^^^]

## 40

«А. Н.» – псевдоним историка П. Н. Кудрявцева, печатавшего в «Отечественных записках» рецензии и повести.

[^^^]

«Путеводитель в пустыни» был переведен М. Катковым, М. Языковым и И. Панаевым (см. «Письма Белинского», т. II, стр. 145). В рецензии на отдельное издание перевода Белинский писал, что это лучший роман Купера: «Многие сцены «Путеводителя» были бы украшением в любой драме Шекспира. Основная идея его – один из величайших и таинственных актов человеческого духа: самоотречение...» (Полн. собр. соч., т. IV, стр. 514).

[^^^]

## 42

«Мейстер Фло» переведен Н. Х. Кетчером. 16 августа 1840 года Белинский писал ему: «Достолубезнейший Кетчер, спасибо тебе, тысячу раз спасибо за «Мейстера Фло».

[^^^]

## 43

Перевод был сделан В. Боткиным.

[^^^]

## 44

Статья чешского ученого Колара, перевод М. Погодина (см. Барсуков «Жизнь и труды Погодина», т. V, стр. 455).

[^^^]

## 45

Статьи Белинского.

[^^^]

## 46

Статьи Каткова (см. «Исторический вестник», 1888, № 1, стр. 112).

[^^^]

**47**

Статья Белинского.

[^ ^^]

**48**

Статья Каткова.

[^ ^^]

**49**

Статья Белинского.

[^ ^^]



## 50

В четвертом акте водевиля Ф. Кони «Петербургские квартиры» ядовито разоблачался продажный журналист «Задарин» – Булгарин. Белинский не раз напоминал этот акт в статьях 1840 года.

[^^^]

## 51

Перевод М. Н. Каткова.

[^^^]

Этот умеренный отзыв вызван тактическими соображениями. На самом деле Белинский прекрасно понимал неминуемость жестокой борьбы с «Москвитянином». 31 октября 1840 года он писал В. Боткину: «Да скажи ему, Красову, что вечное ему проклятие, если в гнусном «Москвитянине», издаваемом Погодиным, будет напечатано хоть полстиха его».

[^^^]

«Кстати о Шекспире, – писал Белинский Боткину в том же письме, – сказывал мне Кони... что есть в Питере молодой человек Бородин, который из любви к Шекспиру выучился по-английски, а выучившись, стал вновь учиться по Шекспиру и потом перевел стихами всего Шекспира!!! Разумеется, он теперь сам не знает, что ему делать со своим переводом».

[^^^]

Статья об «Истории древней русской литературы» Максимовича принадлежала М. Каткову и вызвала высокую оценку Белинского.

[^^^]

[^^^]